

ГАНС ЭРИХ НОССАК

ИНТЕРВЬЮ СО СМЕРТЬЮ

XX век / XXI век – The Best

Ганс Эрих Носсак
Интервью со смертью

«Издательство АСТ»

1987

УДК 821.112.2-31
ББК 84(4Гем)-44

Носсак Г.

Интервью со смертью / Г. Носсак — «Издательство АСТ»,
1987 — (XX век / XXI век – The Best)

ISBN 978-5-17-133456-7

Произведения, включенные в этот сборник, занимают важнейшее место в творчестве писателя и представляют собой своеобразный «немецкий ответ на литературу экзистенциализма». Стремясь создать картину настоящего, автор обращается к античным мифологическим сюжетам и образам, интерпретируя их, и фокусируется на темах смерти, свободы и трудного, но необходимого жизнеопределяющего выбора человека-одиночки, который становится участником событий, происходящих на грани реальности. Писатель легко и естественно актуализирует эти образы и придает своему творчеству современное или, напротив, вечное звучание.

УДК 821.112.2-31

ББК 84(4Гем)-44

ISBN 978-5-17-133456-7

© Носсак Г., 1987
© Издательство АСТ, 1987

Содержание

Некия	6
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Ганс Эрих Носсак

Интервью со смертью

- © Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 1987
- © Перевод. А. Анваер, 2022
- © Перевод. Р. Гальперина, наследники, 2022
- © Перевод. А. Карельский, наследники, 2022
- © Перевод. Е. Михелевич, наследники, 2022
- © Перевод, стихи. Н. Сидемон-Эристави, 2022
- © Издание на русском языке AST Publishers, 2022

Некия

*Post amorem omne animal triste*¹

Снова пошел дождь. Может быть, он и не прекращался. Поделаться с этим я не мог ничего.

Тогда я встал и решил вернуться. Я сказал людям: «Я поищу дорогу». Нельзя сказать, что они от меня этого хотели. Они лежали вокруг, словно кучи мокрой глины, и в ответ на мои слова некоторые из них, кряхтя, перевернулись на другой бок. Я обратился к ним только потому, что в тот момент считал это правильным. К тому же я лгал, ибо знал, что в том направлении, куда я пошел, никакой дороги не было и в помине. Сделав несколько шагов, я поэтому приостановился; наверное, мне следовало добавить: «Если я не вернусь, то немедленно уходите в противоположном направлении». Мне стоило бы на прощание сказать им что-то такое, чтобы они поняли, что на меня не нужно больше рассчитывать. Но я уже исчез за пеленой дождя. Да, собственно, никакие мои слова уже не имели никакого смысла. Люди вовсе и не догадывались, что я пошел назад. Они утратили всякую способность ориентироваться в пространстве и потеряли представление о направлении.

Я сразу направился назад, в город. Это был большой город.

Но я вернулся. Да, я снова пребываю среди тех же людей. Вполне возможно, что они и не заметили моего отсутствия, ибо продолжали лежать на тех же местах и казались спящими. Я внимательно пригляделся к ним – нет ли среди них того, кому я мог бы все сказать. Но я не нашел такого человека и не стал поэтому ни с кем говорить.

Не стал я разговаривать и сам с собой, что с недавних пор вошло у меня в привычку. Ночами я расхаживал взад и вперед, разговаривая вслух с самим собой. Тогда у меня было имя, с которым меня, впрочем, уже ничто не связывало. Но теперь все стало по-другому.

Было трудно представить себе, что когда-нибудь снова начнут печатать книги, как мы привыкли. Да едва ли найдутся и читатели, которых интересовали бы книги. Но, несмотря на все эти происшествия, о которых я поведу речь, меня все время буквально преследовал какой-то безумный и безрассудный стих, который я когда-то слышал, уже не упомяну, где и от кого:

К чему нам голос дан, – ответь, молю, —
Коль не чтоб петь у бездны на краю?
А если в бездне той исчезнет он...²

Последнюю строчку я забыл. Я не раз пытался восстановить ее по рифме, ибо тогда можно было бы объяснить, какое отношение этот стих имел ко мне и почему он мне помог. Сейчас-то я почти уверен, что без этого стиха я бы погиб. В какой-то степени он сделал меня устойчивым к происходившим событиям, так что я никогда в полной мере в них не участвовал и никогда не искал в них точку опоры. Да, этот стих играл роль шапки-невидимки. Но, как бы то ни было, последнюю строчку я так до сих пор и не вспомнил.

Я разговариваю с неким существом, которое, как я верю, временами появляется рядом со мной. Я на сто процентов уверен, что это не просто болезненное желание избавиться от одиночества, которое окутывает меня среди множества спящих людей. Иногда образ этого собеседника встает передо мной очень отчетливо, и я называю его Ты. Да, я хочу обратиться к этому «Ты», и тогда все происходящее превращается в нечто в наивысшей степени видимое. Однако одновременно меня охватывают и сомнения: не возник ли этот образ из воспоминаний, из того,

¹ Всякая тварь после любви печальна (*лат.*).

² Перевод Н. Сидемон-Эристави.

что осталось у меня позади, того, что мне надо, наконец, считать безвозвратно утраченным. Образ, который хочет хотя бы ненадолго продлить срок своей жизни и поэтому изо всех сил старается привлечь меня к себе. Во всяком случае, до тех пор, пока нас окружают опасности и подстерегают беды.

Но кто это – друг или женщина? Если это друг, то он относится к той категории друзей, которых хочется навещать вечерами, с наступлением темноты. Он еще не включил в своем доме свет и, сидя в полумраке комнаты, о чем-то размышляет. «Ах, это ты», – говорит он, и гость сразу понимает, что явился не вовремя. И хотя гостю следует извиниться и уйти, он остается и присаживается рядом с другом. Следует обмен ничего не значащими репликами – о погоде, о дневных событиях да и бог знает о чем еще. Надо постоянно напрягаться, придумывать что-то новое, чтобы поддержать течение разговора. Почему он не включает свет? При свете все было бы намного проще. Но возникает и крепнет убеждение, что он хотел бы остаться один. Гость наконец сдается, умолкает и продолжает просто молча сидеть рядом. Тем временем полумрак сгущается, становится по-настоящему темно. Образ друга расплывается во тьме, становится невидимым, но ощущение его присутствия только усиливается и становится настолько мучительным, что гость едва отваживается дышать; похоже, эта комната слишком тесна для двоих. Не остается ничего другого, как полностью слиться с этим другим человеком. Этот другой сидит, повернувшись лицом к окну. Гардины не задернуты. Он смотрит на висящее в небе созвездие Ориона. Значит, на дворе зима. Он смотрит прямо на то место, где находится большая туманность, но он видит туманность не как крохотное пятнышко, а как огромный облачный ландшафт. Эти облака космической пыли, скопления звезд и солнечных систем кажутся абсолютно неподвижными. Между тем они движутся быстрее, чем мы можем себе вообразить. Здесь и там мелькают более плотные точки и скопления, чтобы на единственный миг распуститься в нашем сознании в подтверждение своего существования. Друг в полном восхищении стоит перед этой картиной и вслух спрашивает, обращаясь к себе: «Где же здесь разница между движущим и движимым?» Преисполнившись удивления, он возвращается на Землю и думает: «Мы же находимся отнюдь не в середине нашей собственной системы. Может быть, поэтому мы воспринимаем все события искаженно и они не удовлетворяют нас». И тут вдруг начинается интересный содержательный разговор, который прекращается только тогда, когда сказано и рассказано все.

Однако если это женщина, то происходить эта встреча может только в полночь. В доме тихо, так тихо, что кажется, нет никакого дома в том месте, где пребывают два человека. Слышен только монотонный шепот рассказчиков. Все предметы становятся невесомыми, все границы размываются и исчезают. Он не повышает голос, если даже этого требует та или иная часть его рассказа. Он не делает никаких поясняющих жестов. Он сидит на краю ее кровати. Они оба обнажены, но не обращают на это ни малейшего внимания. Они освобождены от всякой возбуждающей отчужденности. Поначалу она пугается, замечая, что, хотя его взгляд направлен прямо на нее, он ее не видит. «Зачем он мне все это рассказывает?» – спрашивает она себя. Может быть, она не все понимает, потому что он невнятно выражается. Возможно, однако, что ее не сильно интересует его рассказ. Ибо то, о чем он повествует, не слишком занимательно. Но вдруг она замечает, что в своем рассказе он близок ей, как никогда раньше, и самозабвенно отдается счастьем слушать его. Когда же он на мгновение умолкает, чтобы прикурить сигарету, она тут же спрашивает: «Почему ты ничего не говоришь?» И он снова начинает говорить. Или нет, потому что в этом уже нет необходимости.

Ты – я имею в виду именно это существо – (и так будет лучше) можешь переспросить, если чего-то не понимаешь в моих словах. Я прекрасно сознаю, что говорю о вещах, которые теперь не имеют никакого значения. У меня есть слова для их обозначения, да и сам я принадлежу кругу этих вещей, но они уже стали ненужными, да и определения им не вполне соответствуют. О многом я просто не стану говорить; такие речи для меня под запретом, ибо они

опасны, слишком опасны. О них можно только думать, их можно только переживать. Однако стоит начать искать для них объяснения, как все бытие становится фальшивым.

Итак, я вернулся в город. Я шел по предместью. На улицах стояла такая тишина, какая бывала здесь – в те времена, когда время членилось на вчера и завтра, – за два-три часа до рассвета. Да нет, сейчас здесь было еще тише, ибо не думаю, что дыхание сотен тысяч спящих не производило никакого шума. Правда, в то время не было никого, кто бы к этому дыханию прислушивался. Ах да, ведь многие люди разговаривают во сне.

Сначала я старался громко топтать, идя по плитам мостовой. Мне было неприятно и даже больно идти, не производя ни малейшего шума; ведь так я мог напугать встречного своим неожиданным появлением. Мои одинокие шаги должны были громким эхом отдаваться от пустых стен. Но ничего подобного не происходило. Вообще, я был единственным, кто меня слышал. Сознать это неприятно. От этого стараешься вести себя еще тише.

Все выглядело так, словно сейчас было обеденное время. Магазины открыты. Перед лавками выставлены корзины с едой, стоят разгруженные тележки. У дверей домов стоят ведра, метлы и другие предметы, которые никто никогда не оставлял на улице на ночь. Раньше люди заботились друг о друге и понимали, что в темноте случайный прохожий может споткнуться. Такие вещи не оставляли на улице и просто из боязни воровства. Увидел я и детскую игрушку. Прислонившись к стенке, сидел маленький желтый мишка, а рядом с ним стояла игрушечная деревянная повозка, в которой этого мишку сюда привезли. Все окна были распахнуты настежь, перед некоторыми осталось висеть белье. Но ни из одной трубы не шел дым.

Так как окна были открыты, значит, стояло лето. До меня это дошло только теперь. Я не на все обращал внимание, ибо отнюдь не все меня интересовало. Например, я не смог бы сказать, были ли на балконах цветы. Почему, собственно, нет? Но я не воспринимал их как цветы. Точно так же и деревья в городе никогда не воспринимались как деревья, а всего лишь как украшения или как защита от солнца или дождя.

Я заходил в разные дома и поднимался по лестницам. От этих заходов я не ждал ничего особенного, но, несмотря на это, заходил. Дойдя до третьего-четвертого этажа, я возвращался. Уходил я просто потому, что, в принципе, это было неправильно. При этом я заметил, что дальнейшее восхождение требовало от меня чрезмерных усилий. Нигде ничем не пахло. Ни едой, ни лежалой одеждой, ни погребом. Не было вообще никаких запахов. Пахло только от меня – дождем и мной.

Темно не было ни на лестничных площадках, ни там, где, по идее, должен был царить полумрак. Мне трудно говорить о цвете. Не могу ничего сказать и о какой-то последовательности. Не было, собственно говоря, ни темноты, ни света, но везде было светло. Это была скучная, тусклая светлота, наползавшая отовсюду. Вероятно, в тех местах, где должно было быть темно, было не так светло, как в других местах.

Раньше такое можно было видеть в лунные ночи. Но этот свет был ярче лунного в пять, а может быть, и в десять раз. Не знаю, насколько мне самому понятно это сравнение с луной. Это был бестелесный свет, лишенный чего-то главного и существенного. Чтобы не потеряться, он льстиво приспосабливается к вещам, отнимая у них цвет и сущность, впитывая их, словно губка, а затем присваивает себе эти свойства. Это было хуже, чем встреча с врагом. Враг оглушает и ослепляет все холодным, высасывающим кровь светом. При этом существа не замечают, что это их собственный свет, которого их лишает враг. Существа теряют всякое представление о реальности.

Вероятно, я все же несправедлив к луне. Странно, но большинство людей в тусклом отражении своей сущности чувствуют себя лучше, чем в своем натуральном виде. Боялись ли люди света, потому что он выставлял напоказ всю их темноту? Но что заставляло их отрицать эту темноту? Я снова и снова спрашиваю себя об этом, хотя и понимаю, что в этом вопросе нет уже ни малейшего смысла. Это просто болезнь.

Однако были и вещи, сохранившие цвет и даже усилившие свою яркость. Или мне так казалось, ибо это были единственные пятна цвета. В корзине у овощного магазина лежали очень крупные капустные кочаны и плоды редьки или какого-то другого светлого корнеплода. Кажется, они превосходно себя чувствовали и буквально раздувались от удовольствия. Немного дальше я увидел витрину, которая, казалось, освещала расположенный перед нею кусок улицы. Такое впечатление создавали разложенные в ней большие желтые сырные головы. Но страшнее всего было проходить мимо мясных лавок: бледная плоть забитых животных, рядами висевшая на крючьях, была единственным, что еще казалось живым.

Нет, конечно, никакой необходимости говорить об этих тошнотворных явлениях; забвение их приносит утешение. Да, мне было бы лучше согласиться с тем, что я обманываю себя; как мог я смеяться после того, что произошло, и в том состоянии, в каком я тогда находился, утверждать, что сохранил способность к здравым суждениям? Вероятно, я мыслил так, как привык мыслить вчера, а не так, как того требовали реальные обстоятельства. Однако позднее, в другой части города, я увидел нечто, чего никогда не забуду и не хочу забыть. Это нечто попало мне на глаза в витрине ювелирного магазина. Меня поразили лежавшие там жемчужины, ибо золото и отшлифованные драгоценные камни – все, что блестит и сверкает при свете, – были ничем в сравнении с жемчугом. Я не ошибаюсь – эти жемчужины жили и дышали. Должно быть, они обладали невероятной, сверхъестественной ценностью; но раньше я об этом никогда не думал. Важно только то, что они попали мне на глаза и что я не хочу их забыть. Молочные и серые жемчужины. Но сказать только это, значит не сказать ничего. В их серости проступало напоминание обо всех цветах, каковых больше не существовало. Какое нежное, какое изящное пристанище! Или лишь смутное представление обо всех цветах, какими они должны были быть при рождении. Я долго стоял перед витриной, не в силах оторваться от этого зрелища. Я и сейчас постоянно думаю о том жемчуге. Мне надо было взять оттуда несколько жемчужин, чтобы раздарить их. Ибо, если этот Ты – женщина, которой я это рассказываю, то любая женщина – и завтра, и всегда – будет рада такому подарку. Да и кому пришло бы в голову запретить мне просто забрать весь этот жемчуг себе? Он же и был мой. Однако тогда я об этом не подумал.

В булочную я зашел только один раз. На двери висел звонок. Я немного постоял у входа – такова сила воспитания. Я взял с прилавка булочку и вышел на улицу. Звонок довольно долго звякал мне вслед, словно радуясь, что хоть кто-то его слышит. Свежую булочку я съел по дороге. Не потому, что был голоден. Понятно, что мне хотелось есть, но я ел просто для того, чтобы засунуть что-нибудь между зубов и ощущать, что я жив и не потерялся.

Я совершенно отчетливо понимал, что не встречу по пути никого, даже пса. Да и его я не боялся. Только теперь, задним числом, я задаю себе вопрос, что, собственно, произошло бы, встретиться мне хоть одна живая душа. Есть ли на этот счет какие-то сомнения? Если бы это был человек, то я бы его убил. Я не очень мужественный человек, не слишком силен и совсем не ловок. Я всегда трусливо избегал драк и никогда никого не убивал. Но все же? Сейчас я вспоминаю, что время от времени мне снилось, будто в погребке или в саду под кустами, не очень глубоко – нет, не под кустами, а под кучей гнилых скользких досок, сваленных у стены, – зарыт труп. Эти сны страшно меня мучили – я боялся, что его найдут. Когда-нибудь его непременно обнаружат; а меня ждет неизбежная казнь. Суд происходил на окраине города, среди садовых участков. Там всегда обитали хорошо одетые господа. Невдалеке виднелась стена загородных домов. Умоляющим голосом я сообщил прокурору о том, что вполне мог совершить преступление. Не могу точно сказать, что я имел в виду. Указал я и на то, что мог бы натворить в будущем. Что за смехотворная сцена! Я отчетливо вижу, как он недоуменно пожимает плечами, а мой адвокат едва заметно качает головой. Я не могу описать, что я понял из этого мимолетного жеста. Ах, разве нельзя четко сказать: я не совершал то-то и то-то. Ибо, возможно, я это и сделал, но сам не сознавая своих действий. Но вдруг мне стало совершенно очевидно, что

человек – это не то существо, которое всегда живет по общепринятым правилам и старается не поступать иначе, чем от него ждут. Ибо, когда все иллюзорное мироздание рушится в один миг и почва уходит у человека из-под ног, он лишается опоры. Но к данному случаю это не имеет никакого отношения. Если бы мне дали возможность говорить и дальше, то, вероятно, я бы назвал и имя покойника. Это было бы поистине ужасно.

Я говорил о том, что встретиться мне какой-нибудь человек, я непременно бы его убил. Однако это же само собой разумеется. Между прочим, это был бы акт милосердия; ни один человек не смог бы сохранить рассудок, оказавшись в состоянии такой полной свободы. Хотя можно ли назвать человеком умственно помешанного? Я не хочу этим утверждать, что действовал бы исключительно из соображений гуманности и милосердия. Да, как только бы я его заметил, я бы спрятался за выступом стены и напал бы на него из засады.

Если бы нашелся такой человек! Наверное, это была просто моя галлюцинация, и мне следует как можно скорее себя в этом убедить. А он – я хочу сказать, если бы тот человек появился, – мог бы оказаться таким же одиночкой, как и я. И мог быть проворнее и сильнее меня. Как бы то ни было, он бы точно так же попытался меня устранить. Судя по тому, что тогда творилось, другого было не дано. Это означало бы, что это еще не конец и долг каждого из нас – приблизить этот конец любой ценой.

От этих мыслей охватывает безмерная печаль. Надо беречься таких мыслей. Я, со своей стороны, просто искал этого другого. А он – меня. Хотя бы для того, чтобы поговорить с ним так, как я говорю сейчас. Мы могли бы представиться друг другу, назвав свои имена, и, произнеся их, навсегда забыть о расколе мира. Но где же он? Я же знал, что он здесь. Его образ запечатлен во мне, а значит, сам он должен существовать где-то вовне. Я уже когда-то слышал имя, которое он мне назвал. Мы встретились и прошли мимо друг друга? Были ли мы слепы, ожесточены ничтожностью дней, окружавших нас стеной ненависти? И теперь теми самыми руками, которые созданы для того, чтобы творить добро, мы задушим друг друга, потому что уже поздно делать добро.

Надо беречься от таких разговоров. Я уже сделал это, ибо у меня нет больше имени, каковое хоть что-то говорило бы обо мне, и ничто не дает мне имени, которое заставило бы меня хоть что-то представлять. Но ты, однако, должен знать, кто я такой.

Но этого другого я так и не встретил. Я был совсем один, идя по абсолютно пустому городу. Я не знаю, откуда у меня взялись силы так долго идти. Не думаю, что смог бы повторить такой поход еще раз. Я уже не говорил: есть вещи, которые легче сделать, чем воображать. Так дошел я до центра города, до больших площадей, некогда окруженных огромными зданиями. Восседавшие там люди прежде правили страной. Теперь же можно пройти мимо и забыть об их существовании; от них не осталось ничего реального, но лишь мучительное воспоминание об извечно присущем человеку стремлении загнать действительность в клетку закона. Они не говорят нам: если у вас беда, придите к нам! Они говорят: вам не о чем тревожиться! С небесной высоты, словно Атланты, они гордо возвещали народу то, что он хотел слышать, что все якобы в полном порядке. Рядом находился и театр, где люди с таким искусством разыгрывали свою судьбу, как никто не отваживался проживать ее в действительности. Как же все это странно.

Я наконец вошел в один дом. Это было отдельно стоявшее небольшое здание, окруженное садом. Я зашел туда просто потому, что проходил мимо. Ну, или потому, что ворота и двери дома были открыты. Или потому, что мне надоело бродить и надо было заканчивать это путешествие. Собственно, искать там было нечего. Конечно, теперь, задним числом, все это выглядит так, словно этот дом был целью моего похода и дожидался моего появления. Но это неправда. Никакой цели у меня не было. С равной вероятностью я мог бы зайти в любой из тысячи других домов; все это было теперь моим, хотя я и не знал, что именно меня там ждет.

Определенно, в этом доме ждали гостей, пусть даже и не меня. Я старательно вытер ноги о половик, чтобы не испачкать чистый пол в коридоре. Хотя я и без этого не оставил бы там грязных следов. Я спустился вниз на один этаж; некоторые двери были приоткрыты, но я прошел мимо, решив не заглядывать в комнаты. Я сразу направился в кухню, расположенную в задней части дома. Сам не знаю, почему я поступил именно так; даже теперь я не вижу в этом никакого особого смысла. Наверное, я чувствовал, что слишком плохо одет для того, чтобы войти в качестве гостя в парадную гостиную. Но все это неважно.

На плите стояли кастрюли. Выглядели они так, как будто их только что сняли с конфорок. Естественно, огонь не горел. Я поднял крышку одной кастрюли: она не была горячей. Но у меня не было впечатления, что содержимое кастрюли остыло. Нет, нет, жир не растекался, но я не обратил внимания, шел ли из кастрюли пар. Пробовать пищу я не стал. Вероятно, я бы не почувствовал ее вкуса, ибо его тогда не было ни у чего. Наверное, все было уже готово к тому, чтобы подать блюда к столу. Можно было приступать к обеду. В кухне было чисто и опрятно. К тому же там не было мух.

И это было хорошо. Ибо присутствие мух было бы для меня невыносимо. Ты только представь: существо, с которым ты жил, с которым ты слился, внезапно тебя покинуло. И вот ты стоишь один в вашей некогда общей кухне. И все заурядные предметы, которыми вы бездумно пользовались изо дня в день и которые были так скромны, что ничем о себе не напоминали, хотя и были нам необходимы, – разве они не должны принимать участие в нашей судьбе? Крышка немного деформировалась и уже неплотно закрывает кастрюлю, ложка слегка заострилась из-за частого и долгого использования. Но мы не замечаем этого, мы к этому привыкли; эти мелкие дефекты возникли в долгой совместной жизни с нами – да, и все эти вещи до сих пор здесь, и ты уже не знаешь зачем. Ибо достаточно зажужжать хотя бы одной мухе, как это чувство безвозвратно пропадает.

Я немного прошел дальше, чтобы найти столовую. Оказалось, что это было следующее помещение. Стол был накрыт на двенадцать персон, я сразу это посчитал. Обстановка в столовой была по-настоящему праздничной – белая скатерть, столовые приборы, хрустальные графины с вином и серебряные подсвечники. Там могли быть еще цветы – во всяком случае, я не мог помыслить себе такой стол без цветов. Я внимательно осмотрел стол и даже прикоснулся к некоторым предметам. Мне кажется, что я даже кое-что переставил. Чтобы окончательно войти в роль, я уселся за стол, на место в узкой части стола напротив стеклянных дверей, выходящих на террасу. Двери были раскрыты. Никто не подошел обслужить меня, никто не поставил передо мной кушанье. Впрочем, я этого и не ждал. Немного посидев, я встал и аккуратно придвинул стул к столу. Мне бросилась в глаза висевшая на стене картина. Голый ландшафт с водой. Точнее, даже не так: это было нечто, бывшее когда-то ландшафтом или только собирающееся им стать. Цвета картины напомнили мне о жемчужинах. Это очень странно. Должно быть, тот, кто писал эту картину, и те, кто повесил ее на стену, чтобы все время ее созерцать, знали что-то большее, чем позволяла предположить обстановка их рутинного бытия. Не ошибаюсь ли я в своем суждении?

В соседней комнате были книги – две стены были уставлены ими. Видимо, в этом доме жили начитанные люди. Здесь же находился небольшой раскрытый рояль с нотами на пюпитре. Зачем мне надо все это описывать? Здесь все было, как везде, ну, может быть, в обстановке было чуть больше вкуса, но не в этом суть. Чего-то не хватало; прежде всего это было совсем не то, что я искал. Но, собственно, что я хотел найти? Я нашел возможным пройти по улицам города и по этим комнатам. Что вообще побудило меня вернуться в город? Ведь я даже не мог предположить, что от него что-то осталось. Тем более что он снова меня отпустит и что я буду теперь стоять под дождем на высоком, лишенном деревьев пригорке между безымянными, измотанными, забывшимися в беспокойном сне людьми, которых едва ли отважилось бы так назвать еще одно, такое же безымянное существо – стоять, чтобы говорить об этом.

И дело не в том, что я могу рассказать что-то интересное. Кто-то должен об этом говорить. Возможно, между слов вдруг мелькнет то, о чем нельзя забывать, и если это будет высказано, то оно обретет жизнь. Иногда мне кажется – хотя, вероятно, я ошибаюсь и это нельзя воспринимать всерьез, – что именно ради цвета я и вернулся в город. Я имею в виду цвет жемчужин и картины.

Я долго стоял перед зеркалом. Или сидел? Здесь мой рассказ путается, ибо я тогда страшно устал. Спроси, если хочешь, чтобы я разъяснил подробности. Я мужчина и не на все обращаю внимание. Может быть, я упустил из виду самое важное.

Зеркало было похоже на узкие ворота, через которые я мог бы без труда пройти.

Да, это была комната какой-то женщины. Надо учесть, что и комнаты, и вещи перестали источать запахи. Поэтому я не сразу это понял. Но в комнате были разбросаны предметы, которые должны были привлечь мое внимание к этому факту. Перчатки, чулки или носовой платок. Сейчас мне даже кажется, что на стеклянной дверце одного из шкафчиков, стоявших рядом с зеркалом, осел слой пудры. Я пальцем нарисовал на стекле извилистую линию, но так как она напомнила мне букву «S», то я поспешно ее сдул – в противном случае какой-нибудь незнакомец, имя которого, по случайному совпадению, начинается с этой буквы, мог бы подумать, будто кто вызывал его дух, чтобы зачаровать. Мне стоило бы поискать гребень. Наверняка он где-нибудь лежал. Но кто вовремя думает о таких вещах? Если бы я нашел гребень, то мог бы сейчас сказать, была ли жившая в той комнате женщина молодой или старой; была ли она блондинкой или брюнеткой. Но сейчас, по зрелому размышлению, я делаю вывод: с чего я вообразил, что застрявшие между зубьями гребня волосы должны были сохранить цвет и фактуру? Скорее всего, эти вычесанные волосы были бы похожи на старую холодную паутину. Но это тайна, знать которую мне нет нужды.

Я все же думаю, что та женщина была блондинка; однако при этом я обнаружил в комнате тетрадь, из которой торчало хрупкое канареечное перышко, используемое в качестве закладки. Тетрадь лежала на самом краю туалетного столика и, казалось, вот-вот упадет с него. Я открыл тетрадь на странице, заложенной перышком, и прочитал:

Я в страхе пробуждаюсь ежечасно:
Вдруг осторожность вовсе нас покинет,
И сладость страсти победит – и минет,
И эта мысль поистине ужасна.

Случится ль то в беседе, – не одно ли? —
На улице упасть нам суждено ли,
Когда, прозрев, узреем...³

Разве это не странно? Я не имею в виду тот факт, что люди пишут, печатают и читают такие стихи, хотя и это тоже странно, и я уже говорил об этом. Я хочу сказать, что, судя по этим стихам, эта женщина, должно быть, брюнетка. Но, вероятно, это чисто мужское предположение, и иная женщина, услышав это, втайне посмеется над ним.

Я стоял перед ее зеркалом и всматривался в него. В нем я видел все, что находилось позади меня, и все, что меня окружало. Но впереди не было ничего, да, собственно, в зеркале не было и меня самого. Человек должен был бы потрясенно воскликнуть: я потерял!

Я представляю себе маленькое озеро высоко в горах, за пределами грани бытия, там, где всегда было так, как теперь везде. Кроткие дикари не пьют воду этого озера, к нему не ведут охотничьи тропы. Вершины, окружающие озеро и долженствующие охранять и беречь

³ Перевод Н. Сидемон-Эристави.

его, делают вид, что никакого озера нет, и равнодушно смотрят вовне. Собственно, даже их изогнутые тени блекнут, падая на берега озера, ибо из его глубин смотрит тьма, приглушающая все вокруг. Жители долин рассказывают, что ангелы боятся летать над озером, ибо в его глади пропадают отражения. Говорили еще, что одна звезда устала быть звездой на небе, упала оттуда в озеро и утонула в нем. Это сказка. Бывают, правда, такие бездонные глаза.

Не считаешь ли ты меня мертвым? Ну да, это, конечно, глупый вопрос. И если ты – тот, с кем я сейчас говорю, – друг, то это просто лишний вопрос. Ибо мало что изменится от того, живы мы или мертвы, единственно важное здесь то, что мы можем говорить друг с другом. Если же ты – женщина, то я могу в любой момент погладить тебя по волосам или приласкать грудь, и станет ясно, что я жив. В прежние времена поговаривали, что мертвецы иногда возвращаются, но они всегда понимали, что мертвы, и не пытались никого обмануть. Наоборот, они тотчас предупреждали живых, что к ним нельзя прикасаться, и вежливыми жестами просили извинить их неуместное появление. Они возвращались только потому, что что-то упустили или забыли, или просто потому, что не могли сразу отказаться от укоренившихся привычек. Ах да, и мне вдруг вспомнился старый аптекарь, который раньше жил в моей квартире. В комнате, где стояла моя кровать, у него была столовая. Каждую ночь подходил он к буфету, чтобы налить себе стаканчик собственноручно приготовленного шнапса. Он очень старался не шуметь, чтобы не мешать мне и не наткнуться на мебель, расставленную иначе. Но как бы осторожно он ни двигался, половицы все равно скрипели, и я всегда замечал его приход. Потом он отказался от этой привычки: в ней просто отпала необходимость.

Но вот что пришло мне в голову: если я уже умер, то почему в городе я был один? Где были другие бесчисленные мертвецы, которые умерли одновременно со мной? Я уже не говорю о всех тех, кто умер раньше. Представляю, какая бы здесь была толчея! Нет, все же я пока не умер, ибо таким одиноким, как я, мог быть только живой. Прежде я, скорее, искал основания, чтобы поставить под сомнение, жив ли я, сравнивая себя для этого с другими. Или когда я читал в какой-то книге, что здоровый человек должен жить так-то и так-то. Меня часто сбивали с толку взгляды людей на улице. Они оценивали меня совершенно не так, как других случайных прохожих. Если это был мужчина, то люди оценивали, смогут ли они с ним потягаться силой. Если это была девушка или женщина, то они задумывались, стоит ли она любви. Или оценивали только из тех соображений, что не стоит связываться с первым встречным. Когда же им на глаза попадался я, то все было по-другому. Они впадали в ступор, словно за мгновение до этого меня не было и я вывалился им навстречу из облака. Стоило же мне пройти мимо, как я снова исчезал для них; они считали, что я им привиделся, что это был обман зрения, и тотчас переставали обо мне думать. Это было мне страшно неприятно, ибо я не желал их пугать; по этой причине я охотно переходил на другую сторону улицы, если, конечно, успевал вовремя это сделать. Но иногда избежать встречи не удавалось. Так бывало и когда я, находясь в компании хороших знакомых, покидал их уже на лестнице, после того как защелкивался замок закрывшейся двери; этот звук можно было воспринять как упрек за то, что я бросил их в беде на произвол судьбы. Они оставались наедине друг с другом и думали: он только что был здесь с нами. Почему он ушел, не оставив никаких следов? Такое впечатление, что его здесь и не было вовсе. Или, наоборот, что, наверное, еще хуже, им казалось, что это они вдруг умерли и были сразу мною забыты. Едва ли была какая-то польза, если бы я вернулся и чистосердечно объяснил им, что они заблуждаются и я лишь всерьез пытался так же проникнуть в их мысли, как они в мои. Но они бы только удивленно взглянули на меня; у них наверняка бы возникли сомнения в моей вменяемости.

Тогда, стоя перед зеркалом, я ни секунды не сомневался в том, что я жив. Я точно не был мертв: мертвым могло быть только само зеркало. Я исследовал его на этот предмет и попытался отделить его от стены, чтобы заглянуть в зазеркалье, но это мне не удалось.

До другой возможности я не додумался. Я имею в виду вероятную гибель моего образа. Да и как мог я до этого додуматься? Мы не можем помыслить себе человека, лишённого отражения в зеркале, и это большой вопрос, заслуживает ли живое существо, лишённое зеркального отражения, имени человека. Если, например, небо не может отразиться в моих глазах, может ли оно оставаться небом? Но чем бы тогда можно было его назвать? Наверное, это было бы что-то похожее, но ни в коем случае не то, что до этого называлось небом. Мне кажется, что иной раз я замечал, что цветок, красотой которого восторгаются, только тогда по-настоящему расцветает и становится еще прекраснее, когда на щеках созерцающего его человека распускается румянец, и уже невозможно сказать, кто кого одаривает красотой. Раньше люди верили, что знают это абсолютно достоверно, но теперь?

Однако тогда я также еще не замечал, что у меня пропало и имя. У меня просто уже не было повода его произносить. Вокруг не было никого, кто мог бы меня окликнуть или обратиться ко мне, а сам я, обращаясь к себе, не употреблял имени, которым пользовались другие, когда чего-то от меня хотели. Не мог я знать также, что моей жизнью я был обязан тому единственному факту, что ее связь с моим именем и отражением была столь зыбкой, что они не смогли, погибая, утащить ее за собой. Имя – не более чем денежная банкнота, которая незаметно выскользнула из кармана и потерялась. Ветер уносит ее прочь; кто-то, возможно, обнаружит ее и найдет ей применение; но возможно, что она попадет в какой-нибудь пруд и исчезнет навеки.

Меня эти размышления не столько пугали, сколько приводили в изумление. Наконец, устав от этих дум, я улегся в кровать. Да, в той комнате стояла кровать. Я снял покрывало, сдвинул в сторону ночную рубашку, лежавшую под одеялом, и лег на чистую постель, как был – мокрый от дождя и забрызганный жидкой грязью.

Я тотчас уснул, и мне стал сниться сон...

Под дуновениями ветра оконная занавеска парусом выгибалась внутрь комнаты. Какой-то заблудший шмель, басовито жужжа, ворвался в комнату, полетал у стен, а затем благополучно выбрался наружу. Под окном в саду играли двое детей. Один крикнул: нам пора домой! С улицы доносились шаги прохожих и обрывки их разговоров. Вдалеке прозвенел трамвай, а кондуктор свистнул в свисток, предупреждая об отправлении. Звуки между тем становились все громче и громче. С шумом проносились машины, предостерегающе гудя на перекрестках. По мостам гроыхали товарные поезда. В порту трижды глухо прогудел отплывающий пароход; ему визгливо и нервно ответил буксир. Под конец стало так шумно, что за этим шумом уже ничего не было слышно.

Стоял теплый летний день, конец июня. Днем, вероятно, было жарко, но комната уже давно была в тени. На потолок легло зеленоватое отражение подстриженного газона. Где-то цвели липы; их сладковатый аромат сулил головную боль. На столике красного дерева стояли три желтые розы. Я взял со стола вазу, чтобы понюхать, но запах не доставил мне удовольствия, и я поставил ее на стол. При этом с одной розы упали два лепестка и легли на чистую блестящую столешницу, напоминая корабли на поверхности моря в штить. Я изо всех сил старался не производить ни малейшего шума. Нерешительно прошелся я по ковру, прислушиваясь к жизни квартиры.

Кто-то позвонил в дверь, и я сжался от испуга. Потом кто-то вышел из кухни – я понял это по донесшемуся до моего слуха звуку, – прошел по коридору и открыл входную дверь. В прихожей люди обменялись парой фраз, потом открылась другая дверь, и до меня донеслись громкие голоса, которые затем снова стали тише. Человек, открывший входную дверь, снова вернулся в кухню. Я боялся, что сейчас кто-нибудь постучится в комнату, где я находился, или просто войдет, но этого не произошло.

Через некоторое время, собравшись с духом, я вышел из комнаты и крадучись прошел по ковру в коридоре. Там приятно пахло жарким. Собственно, я собирался как можно неза-

метнее покинуть дом, но против воли взялся за ручку двери, ведущей в ту комнату, из которой доносились голоса. Металлическая ручка приятно холодила ладонь, и я отбросил все свои опасения. Открыв дверь, я вошел в комнату.

Все взгляды обратились ко мне. Общий разговор стих на томительно долгую секунду. После этого на меня обрушился поток громогласных радостных приветствий. Меня ждали, и, что самое странное, я несколько этому не удивился. Впрочем, не следует забывать, что я рассказываю сон. Один из присутствующих сразу привлек мое внимание. Он приветливо крикнул мне: «Важные господа всегда приходят последними». Что-то в его голосе заставило меня насторожиться. К нему надо очень внимательно присматриваться, сказал я себе, иначе он может что-нибудь заподозрить. Как я понял из дальнейшего, все здесь посчитали его моим другом. Он все время обращался ко мне: «Мой дорогой». Это очень тягостно: иметь рядом такого назойливого компаньона.

Именно он, этот человек, заставил меня обратить внимание на хозяйку дома. Нет, нет, он сделал это не словами; просто по его внимательному взгляду мне стало ясно, что между ним и этой женщиной что-то есть. Я, конечно, не был хозяином дома, и не я принимал гостей. Она подошла ко мне и сказала... Нет, я не уверен, что она это сказала; она просто протянула мне руку, и я понял, что она хотела сказать: «Я уже думала, что ты не придешь». Это не звучало как упрек, но слова ее сильно меня расстроили, потому что я ничем не мог ей помочь. Я смущенно улыбнулся, глядя в ее сторону. Я старался не вступать с ней в разговор и не смотреть на нее. Это совершенно необязательно, если хочешь с кем-то познакомиться. Напротив, излишняя назойливость часто отталкивает.

Глупо, конечно, что я это рассказываю. Но я могу предположить, что тебе, возможно, захочется знать, кто она, как выглядела и во что была одета. Я бы с удовольствием рассказал об этом, если бы смог; я бы уж точно не стал об этом умалчивать. Ей не было бы никакого урона, если бы я рассказал о ней приятелю или другой женщине. И почему бы это я не мог тогда иметь дело с какой-нибудь женщиной? Кроме того, мужчину можно по-настоящему хорошо узнать, если понять, как он относится к женщинам. Без них он не вполне реален и невнятен, как слово, выкрикнутое в пустоту. Короче, несомненно, это была та самая женщина, в чьей кровати я спал, но ничего более определенного я сказать об этом не могу. Она была там и была настоящей, а я всего лишь спал и был призрачным. Да, вероятно, так оно и было. Возможно, мне удастся еще описать какой-нибудь ее незаметный жест, по которому ее можно узнать.

Когда я говорю, что видел сон, то это не следует воспринимать как оценку. В прежние времена были люди, предостерегавшие нас от серьезного отношения к сновидениям. Эти люди утверждали, что сновидения – пена и только реальность имеет ценность. Как будто сны, которые мы видим, не имеют отношения к реальности! Это можно понять даже из рассуждений этих умников. Дело в том, что если я просыпаюсь утром и становлюсь другим под влиянием ночных переживаний, не таким, каким был накануне, то я поступаю и действую по-другому, не так, как мне хотелось раньше. Рушатся согласованные планы или возникают возражения, и в результате этого те, кто имеет дело со мной, меняют свое ко мне отношение и начинают поступать по-иному – и что, прикажете после этого говорить, что сновидение, обладающее такой действенностью, не имеет в своей основе реальности? Да и что вообще знали те люди об этой реальности? Однажды, когда я работал в банке, один сотрудник как-то днем вдруг тяжело вздохнул и сказал: «Ах, а ведь сегодня утром у меня было такое хорошее настроение». При этом было совершенно очевидно, что в течение дня у него не было никаких неприятностей, во всяком случае таких, которые могли бы вызвать перепад настроения. Может быть, изменилось атмосферное давление? Для тех всезнаек это было бы наилучшим объяснением, но они и сами прекрасно поняли бы, что это ничего не объясняет. Они просто испытывали животный страх перед тем, что не могли учесть, и старались обмануть самих себя с помощью остроумных

ухищрений, чтобы справиться со своей неуверенностью. Было бы лучше, если бы они не были такими самоуверенными.

Этим я всего лишь хочу сказать, что для существования той женщины не имело никакого значения, спал я или бодрствовал. В любом случае, она не была мне женой.

Да, я забыл сказать, что в моей одежде как будто не было ничего особо примечательного. Она была именно такой, какую ожидали увидеть присутствующие, и я больше не думал об этом. Со мной разговаривали, я произносил «да» и «нет», в зависимости от того, что от меня хотели услышать, кивал головой, улыбался или, наоборот, слушал с самым серьезным видом. Это было совсем не трудно. Например, один из них увлек меня в угол, чтобы поговорить. Он предложил мне начать совместное дело или что-то в этом роде. Я ответил: да, это стоит обсудить или: я буду думать до завтра – и он оставил меня в покое.

Мы все были молоды, или, во всяком случае, среди нас не было стариков. Как бы смехотворно это ни звучало, мы выглядели как дети, которые изо всех сил стараются казаться взрослыми. Мы были бы более убедительными, если бы играли в куклы, в прятки или взапуски носились по улице. Вместо этого мы вбили себе в голову, что нам надо играть во взрослых, и очень серьезно отнеслись к своим ролям. При этом, надо полагать, мы переигрывали с тем, что считали типичным взрослым поведением: мы были подчеркнуто вежливы, вели серьезные застольные разговоры, употребляли изысканные обороты речи и все прочее в том же духе. Мы даже копировали особенности, подсмотренные у дяди или тети. Могу предположить, что мы разыгрывали также и любовь, так как считали, что и она должна входить в этот обязательный репертуар взрослости. Не могу утверждать этого наверняка, но подозреваю, что некоторые считали себя влюбленными, обнимались и спали друг с другом, так как знали, что так поступают взрослые. Должно быть, это была очень опасная игра; ибо для того, чем они, играя, занимались, им не хватало зрелости, и даже если они были готовы к взрослости, то каково бы было их удивление, если бы они поняли, что таким поведением они лишь задерживают свое созревание. У людей вообще всегда так: о любви говорят слишком много, а поскольку обходятся с нею легкомысленно, то настоящую любовь обретают лишь немногие, и это вызывает так много горестных вздохов.

Был ли я там старшим? Действительно ли я так стар? Я смотрю на спящих вокруг меня людей, которые, возможно, лежат здесь уже целую вечность, потому что нет пастуха, который разбудил бы их. Я единственный бодрствующий среди них. Если бы здесь, в пустоте, были открытые глаза, то я показался бы им обелиском. Я, однако, смотрю в сырую серость, но в ней нет меры, какой я мог бы мерить. Все может быть началом, но может оказаться и концом. Как мне решить этот вопрос? Бессмысленно говорить о близком и далеком.

Естественно, я знаю, что за моей спиной что-то есть, но оно уже ничем не проявляет себя. Для того чтобы заслужить доверие, мне бы следовало предъявить какие-то осколки или остатки прошлого, но их нет у меня. Остались только слова, но и слова уже не имеют никакой силы. И что означает сама эта фраза: позади меня что-то есть? Прежде не было в мире ничего надежнее исчисления времени. Все было точно расчленено, разделено и могло быть выражено числами. Одному тридцать лет, а другой прожил тысячу лет. Исчисление сохраняет свою точность, однако предпосылки уже не те. Время разорвалось. Ибо что значит «вчера»? И что такое тысяча лет назад? Мне надо только обратиться к тем, кто жил тысячу лет назад, и я смогу с ними поговорить. И что при этом должны сказать нам числа? Если я не обращаюсь к этим людям, то, значит, их просто нет, и никакие числа не способны изменить это положение. То же самое и с тобой, друг мой, к которому я обращаюсь, с которым говорю; ты здесь, потому что слушаешь и слышишь меня. Или меня можно уподобить только что родившемуся младенцу, который утверждает: мне уже девять месяцев? И даже много, много больше, ибо я жил еще в крови моих родителей и прародителей. Да, я живу с самого начала времен. Это, конечно, ребяческое утверждение, но все же?..

Если когда-нибудь возникнет нужда снова разделить вещи и события числами, ибо в противном случае люди заблудятся, то я начну отсчет не со вчерашнего дня, не с моего похода по городу, не с моего сна, а вот с чего: с числа часов или дней, прошедших с того момента, когда я смог о них говорить.

За столом я сидел с хозяйкой дома. Причем занимал я именно то место, на котором уже сидел, когда был в квартире один. Это произошло как-то само собой и не встретило ничьих возражений. Мы праздновали какое-то событие, касавшееся хозяйки, а поскольку я сидел рядом, то и меня тоже. Я, правда, не помню, в чем была суть праздника, но в любом случае мы хотели быть счастливыми.

Если бы я только знал ее имя! И имя моего нового друга; да, в особенности мне хотелось бы знать его имя, ибо он, по существу, не вполне соответствовал моим представлениям о друзьях. Никким образом не был он таким другом, как тот, к которому я сейчас обращаюсь. Я, впрочем, мог бы придумать для него имя – сошло бы любое. Для друга вполне сгодилось бы имя Лизандр, сам не знаю почему. Лизандром звали полководца, выигравшего какие-то важные сражения. Должно быть, он был весьма достойным мужем, но лично я не был с ним знаком. Бог знает, встречусь ли я с ним еще когда-нибудь. Или он сам придет ко мне, когда узнает, что я приписал его имя другому, и выскажет мне свое недовольство. Так что я, пожалуй, оставлю эту мысль.

Да, собственно, что означает выражение «хозяйка дома»? Не слишком ли это претенциозно? Подруга гостей – наверное, такое обозначение будет лучше. Она принимает гостя, в ее доме он смывает с себя грязь дальних странствий, она дает ему новую одежду и оставляет на ночлег. После этого она щедро одаривает его всем необходимым для дальнейшего пути. Таковы были старинные обычаи. Она напутствует его добрыми советами, и вообще ей не нравится, если гость, уходя, не набирается от нее ума. Эту женщину, я имею в виду хозяйку дома, рядом с которой мне было дозволено сесть, звали, наверное, Ионой. Может быть, в этом имени не хватает одной буквы. Я не знаю ни одной другой женщины с таким именем. Возможно, для женщин это не так уж важно. Все дело в звучании. Они укутываются в имя, как в покрывало, и, если цвет им подходит, они сохраняют имя. Слыша «Иона», представляешь себе холмистую местность на морском берегу. Представляешь тихий прибой и одинокие заброшенные острова. Над островами часто падает туман, и когда сквозь него временами проглядывает солнце, воспринимается это как чудо.

Тогда, когда мы сидели рядом за столом, она, вероятно, была уверена, что мне известно ее имя. Мы сидели очень близко. Я ощущал ее тепло и одновременно осязал невысказанный вопрос: почему ты это делаешь? А я, несмотря на то что изо всех сил старался это скрыть, тоже понимал, что и она чувствует мой немой вопрос: кто ты, собственно? Так мы прислушивались друг к другу, одновременно принимая участие в общем разговоре, напряженно вслушиваясь в то, что незримо скрывалось за словами.

Иногда наши руки соприкасались. Не знаю, какие у нее были руки. Мои... ну, мои ты и сам видишь. На левой руке у нее был надет серебряный перстень с опалом. Я изо всех сил, но тщетно пытался понять, не я ли подарил ей этот перстень. И когда это я успел ей его подарить?

Я думал о деревянной беседке на арендованной ферме. Внутри беседки была настоящая комната, куда я, правда, ни разу не заходил. Перед входом была увитая виноградом открытая веранда со столом и скамьями. На сплошной стене веранды висели олени рога и цветные мишени. На одной из них был сидящий на сосне и рискующий сломать себе шею отчаянно токующий глухарь. На другой был нарисован олень, из ноздрей которого валит густой пар. Самая волнующая картина представляла схватку лесничего с браконьером высоко в горах. Браконьер укрылся за большим камнем; естественно, у него была густая черная борода, а лесничий был культурно выбрит. На браконьере была грязная рваная рубаха и штаны из грубой кожи. Рядом с браконьером лежал козленок серны; да, козленок. Злодей убил его подлым выстрелом; для

того чтобы ни у кого не осталось на этот счет никаких сомнений, художник не пожалел красной краски. Из сюжета было неясно, кто выйдет победителем в перестрелке из охотничьих ружей.

Очертания беседки скрадывались в мареве полуденной жары. Сквозь плети винограда виделось строение главной усадьбы. От яркой желтоватой белизны стен там, где они не были прикрыты шпалерными фруктами, было больно глазам. Ветви красной смородины, увешанные спелыми гроздьями, нависали над штакетником огорода. Сначала из кухни доносилось звяканье тарелок и чашек. Но теперь все затихло, как рыжий охотничий пес, дремавший на пороге входной двери. Но, может быть, слуги и служанки ушли в поле. Время от времени тишину нарушало сонное квохтанье одинокой курицы. Был тот час дня, который разительно напоминает полночь; несмотря на то что все видно, предметы расплываются и перестают осознаваться, исчезая в нестерпимо ярком свете и жаре. Так и ночью предметы теряют в темноте свои привычные очертания.

На столе веранды лежала скатерть, украшенная старомодной синей вышивкой крестиком. На скатерти стояла ваза с колокольчиками. За столом сидели двое молодых людей, а с ними дети. Мальчик с выражением читал стихи, а девочка внимательно его слушала, сложив руки на подоле белого платья. Не смейся над ними! Когда я вижу эту картину, на уста мои напрашиваются слова: Счастье! Молодость! Полнота бытия! И все же это вздор! Откуда мог я тогда взять деньги, чтобы подарить девушке дорогое кольцо, которое в старые времена, вероятно, носил какой-нибудь пастор.

Отделавшись от этого вздора, я иду по оживленной площади большого города. Мне отнюдь не кажется невозможным, что это тот самый город, куда я позднее вернулся. Грязное зимнее утро, но я не замечаю серости, настолько мне нравится этот город. Мимо проезжает великое множество автомобилей, их так много, что я не могу перейти улицу. По этой причине мне вместе с другими людьми приходится ждать на середине площади, у памятника. На красноватом мраморном цоколе сидит зеленый человек. В руке он держит свиток. Кисть прикрыта острой манжетой, выступающей из рукава. У человека на голове коса. Лоб и плечи покрыты беловатыми полосами воробьиных испражнений. Мне, наконец, удается чуть ли не бегом пересечь мостовую, и я устремляюсь к почтовому ящику. Мне приходит в голову какая-то мысль, и я хватаюсь за левый карман пальто.

Ранним утром я провожал девушку, отбывавшую пароходом за границу. Значит, то, о чем я рассказываю, происходило в портовом городе. Может быть, она уже не была девушкой – этого я не могу сказать точно. Я проводил ее до таможни, где проверили ее документы и попросили открыть чемодан, который нес за девушку я. Сверху лежало платье из темно-красной тафты, которое было надето на ней накануне вечером. Мы провели тот вечер вместе с людьми, с которыми она жила. Мне кажется, что мы даже потанцевали. После того как с таможенными формальностями было покончено, мы ждали паром на качавшемся понтоне, который должен был перевезти нас на другую сторону гавани. Вместе с нами ждали переправы рабочие верфи. Мы молчали, не произнося ни слова. Было сыро и сумрачно. Мы мерзли. Паром с треском давил податливые льдины. На той стороне нам пришлось еще какое-то время идти между безликими строениями по безрадостным бульжникам дока, пока мы не нашли нужный пароход. Я протянул ей чемодан, и мы пожали друг другу руки. Мы не обнялись, нет. Потом она поднялась по трапу. Какой маленькой казалась она на фоне огромного борта парохода! Я стоял внизу, тоже маленький и потерянный. Пару раз она обернулась. На палубе с ней поздоровался кто-то из членов экипажа. В эти мгновения я видел ее в последний раз. Без всяких мыслей в голове пошел я назад. У почтового ящика меня вдруг осенило, что она оставила мне открытку, которую просила бросить в ящик. Я вытащил ее из кармана и прочел: «Дорогая бабушка! В мои последние дни на родине...» Читать дальше я не стал и торопливо сунул открытку в щель ящика. Она с глухим звуком упала на дно. Мне потребовалось приложить немало усилий, чтобы не завывать. Мимо меня шли люди, много людей, и у каждого из них было

дело, была цель. Почему эта девушка покинула родину? Однако я-то знаю почему. Она просто не хотела ждать.

Но она была далеко, а женщина, сидевшая рядом со мной, никогда не надела бы бордовое платье.

Мой взгляд снова произвольно остановился на опале. Между тем опустилась глубокая ночь. У окна второго этажа дешевого дома стоит какой-то человек. Он стоит в темноте. Его видно только в те моменты, когда ночной ветер отбрасывает в сторону листву деревьев и на фигуру человека падает лунный свет. Он думает: «Да, я хочу ей кое-что предложить». Между тем уже слишком поздно для предложений; ему следовало бы прийти на час раньше. Тут же, неподалеку, стоят двое, как тысячи других влюбленных в этот миг, в тени дома, прижавшись друг к другу, и окружающий их мир кажется им призраком, к которому они абсолютно равнодушны. На противоположной стороне улицы видна строительная площадка, обнесенная забором из необструганных досок. На заборе наклеена афиша цирка. При свете уличного фонаря на ней видны нарисованные слоны, вытворяющие разнообразные глупости. Слоны стоят в ряд, держа друг друга хоботами за короткие хвосты.

Теперь он смог бы сделать ей уже обдуманное предложение: «Не умереть ли нам вместе? Ибо здесь надо всем властвует только смерть».

Но у нее слишком нежные руки; им не идет столь массивный перстень.

Внезапно я все забыл. Не издав ни единой жалобы, сидевшая рядом хозяйка дома исчезла из моих мыслей.

На противоположном конце стола начался разговор, привлечший, против воли, мое внимание. Говорили о происшедшем в полдень событии, взбудоражившем все население города. Было оно известно и мне.

Ровно в двенадцать часов над городом появились две большие, прилетевшие с запада неизвестные птицы. Медленно, почти не взмахивая крыльями, они на небольшой высоте проплыли над домами, трижды облетели башню Ратуши и исчезли в том же направлении, откуда прилетели. Когда все кончилось, люди неуверенно смотрели друг на друга, сомневаясь, не привиделось ли им все это, и с тех пор в городе не говорили и не спорили ни о чем другом. Фактически среди высказанных мнений не было двух одинаковых. Молва приписывала птицам немислимо огромные размеры, одни говорили, что птицы были белые, другие, что черные, а самые хитрые утверждали, что крылья их были сверху белыми, а снизу черными. Не было единого мнения и в том, сколько времени зловещие птицы пробыли над городом. Все говорили, что затаили дыхание на целую вечность, хотя стрелки на часах за это время почти не сдвинулись с места. Когда принялись за подсчеты, то вышло, что весь полет продолжался не более минуты. Однако это невозможно было определить ни по часам отдельных людей, ни при сличении с расписанием движения транспорта.

Я уже говорил, что тоже видел этих птиц. В тот момент я стоял на лестничной площадке большого магазина, у окна. Но, возможно, это был не магазин, а какое-то учреждение или банк. Помимо всего прочего, у меня был долгий опыт пребывания в этом месте, потому что мне приходилось часто стоять у этого окна. Окно выходило на канал и мост, а на заднем плане виднелась зеленая башня Ратуши. Стояло лето, и по каналу проплывали многочисленные баржи и буксиры; зимой поверхность канала была покрыта налезавшими друг на друга льдинами и напоминала поверхность ледника. На цепи, протянутой через канал, на которой висели фонари освещения, сидели напоминавшие жемчужин чайки, беспокойно вертевшие головами в ожидании, что кто-нибудь бросит в воду что-нибудь съестное. Но вдруг, в один миг, чайки сорвались со своих мест и с криками исчезли, планируя над водой. Вода в канале была нечистой и отвратительной на вид; дома, обрамлявшие канал, были построены из уродливого красного кирпича. От этого цвет воды становился еще противнее. Но иногда, весной и осенью, в воде

канала отражались зелень башни и синева чистого неба, и канал волшебным образом преобразался.

На лестничной площадке того учреждения было весьма оживленно. Ученики носились по лестнице, перепрыгивая сразу через несколько ступенек. Одни посетители приходили, другие прощались, и им напоследок кричали еще что-то с верхних этажей. Служащие выходили из кабинетов, чтобы быстро выкурить сигарету или перекинуться парой слов с девушкой. Внезапно все это, как по волшебству, перестало существовать. Все мы ощутили свое полное одиночество перед лицом мира.

Я смотрел на птиц, и мне казалось, что они ищут меня. Возможно, однако, что так казалось и всем остальным. С любопытством, не двигаясь с места и не пытаясь спрятаться, я ждал, найдут они меня или нет. Когда они улетели, я почти жалел, что не крикнул: да здесь я! Все время этой бесконечной паузы вокруг царил неопишуемая тишина. Там, куда легли тени этих птиц, все живое втягивало головы в плечи, съеживалось. Теперь, по прошествии времени, задним числом, я понимаю, что тогда стояла такая же тишина, которую я так болезненно ощущал, одиноко шагая по пустому городу. Естественно, было много и тех, кто не видел этого явления, потому что они находились в то время в закрытых помещениях и занимались своими делами. Но самое примечательное, что все ощутили, что происходит что-то из ряда вон выходящее, что многие – как выяснилось – очень долго не осмеливались пошевелиться. То же самое замечали и у собак, а некоторые утверждали, что в тот момент поникли даже цветы, хотя, впрочем, снова поднялись, когда птицы улетели. Одно лишь это уже пугало.

Как только это стало понятно, по городу поползли слухи. Сам я ни с кем не разговаривал, сознательно этого избегая. Меня отчасти продолжала окутывать загадка того мгновения, она парализовала меня настолько, что я едва ли был способен воспринимать вопросы, а возможно, и вид растерянных и сбитых с толку людей. Я тотчас, ни секунды не раздумывая, вышел из здания и пустился в направлении, в котором улетели птицы, вдогонку за неизвестностью. Это не бахвальство, я хочу лишь сказать, что это не было бегство.

Вот сейчас я как раз и выгляжу как жалкий беженец. У меня нет больше имени и отражения в зеркале. Я ничем не отличаюсь от тех, кто лежит вокруг меня. По их лицам исследовал я, что смогли они сохранить перед лицом судьбы остальных людей. Но лица их совершенно лишены выражения; кажется, что у них нет прошлого. Можно прозревать бесконечность в их глазах. Да, ветер продувает их насквозь, и позади них та же бескрайняя пустота, что и перед ними.

Что же касается меня, то могу сказать только одно: это прошлое, пусть оно будет таким, как ему заблагорассудится, – я покинул его, как тюрьму. Мне приходилось сдерживаться, чтобы, ликуя, не заорать на всю улицу: наконец-то! Хотя я понимал, что самое тяжкое только начиналось.

Но давайте вернемся к моему сну. За столом тоже обсуждали это достопамятное событие. Все удивлялись, что никому не хватило духу сделать фотографические снимки птиц. Или подстрелить их. Или попытаться преследовать их на самолете. Люди ругали правительство, пустившее все на самотек, и удивлялись, что такое вообще оказалось возможным. Но во всех словах сквозило одно чувство – чувство неуверенности. Даже когда кто-то отпускал замечание, каковое должно было звучать разумно или насмешливо, в его словах прятался невысказанный вопрос, и говоривший выпивал стакан вина, словно для того, чтобы смыть с языка дурной вкус сказанного. Наконец, кто-то закончил дискуссию вопросом: «Что пишут вечерние газеты?» В то время не было обыкновения полагаться на собственные суждения. Считалось, что в обществе существуют особые люди, пригодные к тому, чтобы обо всем сообщать и, по долгу службы, высказывать мнение в том виде, в каком оно представляется самым подходящим для большинства. Вечером обо всем можно было прочитать, и, разговаривая перед сном с соседями, люди убеждались, что теперь они думают одинаково. Итак, все было в пол-

ном порядке и никаких тревожных загадок просто не могло возникнуть. Я знаю, что даже те немногие, кто приписал все происшедшее чистой случайности, тоже ждут, что кто-то скажет им, что они должны думать. Может быть, поэтому так долго спят окружающие меня люди, хотя должен признать, что причиной могут быть истощение и голод. Я также думаю, что они уповают на то, что это я – именно тот, кто формирует их собственное мнение. Я открыл это перед тем, как вернулся в город. Там был один человек, которого я считал моложе и живее остальных. Я наклонился над ним и о чем-то спросил. Наверное, не хочет ли он пойти со мной. Одновременно я попытался раздуть огонь, так как предполагал, что в золе еще тлеют угольки. Мне было бы приятно сознавать, что есть человек, готовый встать рядом со мной. Но я зря его потревожил. Он не привык, чтобы ему задавали вопросы. Да, я вспомнил, о чем я его тогда спросил: не думает ли он, что город остался таким же, каким был раньше, но изменились мы сами? Да, и чтобы не допускать никаких двусмысленностей, я спросил, не считает ли он, что мы мертвы. Но он меня совсем не понял. На его усталом, изможденном лице отразилась лишь смутная готовность принять от меня все что угодно – приказ, идею, но ни в коем случае не вопрос. Скажи я ему: «Мы мертвы!» – и он был бы полностью удовлетворен. Он обращался ко мне на «вы», а я к нему – на «ты».

Надо ли мне было изобрести для него что-то такое, чтобы он смог в это поверить? И зачем? Мне самому эти люди были совершенно не нужны. После того как я один прошел по городу и вернулся назад, я понимаю, что смог бы прекрасно жить на обезлюдившей Земле и точно не умер бы от одиночества. Я буду жить со своими словами, с теми, что еще остались у меня. Какие-то из них, возможно, пустят корни и тем самым обретут известную власть над мной, и я смогу воспользоваться ею. Это не так уж плохо; это закон, которому я охотно подчинюсь. Но эти окружающие меня люди могут сильно помешать мне, ибо это я обрету над ними власть, и горе мне, если я не справлюсь с нею. Тогда они просто меня убьют. Ничто так не поработает, как власть, и только рабы любят властвовать.

Если бы я только знал, что спасло этих людей. Если бы я только мог проникнуть в суть случайности. Не суть ли они воплощенные слова, которые я однажды опрометчиво произнес? Не есть ли случайность мгновение моего утомления?

В вечерних газетах было лишь краткое упоминание о происшедшем событии. Профессор Имярек, известный зоолог, высказался в том смысле, что в этом событии нет ничего экстраординарного, что при определенных условиях – в данном случае, очевидно, в арктических широтах – известные нам животные могут достигать необычайно крупных размеров. Обе птицы, без сомнения, относятся к роду чаек. В настоящее время уже снаряжается экспедиция с целью изучения мест гнездования и всего прочего. Короче, на этом сообщении можно и успокоиться. В прочем же нет никаких поводов для беспокойства.

Так отреагировали газеты. Тот, который обращался ко мне «мой дорогой», участия в общем разговоре не принимал: он был занят тем, что тщательно присыпал солью винное пятно на белой скатерти. Но вдруг, совершенно неожиданно, он заговорил: «Какое нам дело до газетной болтовни, когда нам выпало счастье принимать человека, который сможет высказать по этому поводу гораздо более весомое суждение? Возможно, он явит нам свою милость и ответит». При этом он выразительно посмотрел на меня, а следом за ним обратили на меня свои взгляды и все остальные.

Я почувствовал, что сильно побледнел. Я так разволновался, что боялся пошевелиться и даже утратил способность связно соображать; мне вдруг пришло в голову, что он может читать мои мысли и решил надо мной посмеяться. Он был намного умнее; меня это часто удивляло и заставляло стыдиться моего невежества. Однако в нашем с ним общении была одна странность; собственно, он никогда не говорил того, что было бы для меня новым. Он всегда высказывал то, что, как мне казалось, думал и я, но просто не высказывал вслух или просто был не в состоянии сформулировать. Слыша его слова, я хлопал себя по лбу и думал: да, конечно,

так оно и есть. Но одновременно в душе моей возникало и сожаление о том, что это было произнесено вслух и высказанные таким образом мысли оказались у меня отняты, стали мне чуждыми и враждебными.

Так и это обращение я воспринял как мою собственную мысль, которую я просто не позволил себя высказать вслух. До меня вдруг дошло, что о полуденном происшествии я на самом деле должен знать больше, чем другие. Но не слишком ли рано о нем говорить? Не пытается ли этот мой «друг» сорвать с куста недозревший плод?

Ибо клянусь тебе, мой истинный друг, слушающий меня сейчас, или тебе, женщина, терпеливо лежащая рядом со мной в постели, что тогда я на самом деле этого не знал. Во всяком случае, слов на тот момент у меня не было. И, в конце концов, что я об этом знаю? Немногим больше, чем внешний ход события, да и о нем у меня весьма скудные впечатления – видел я мало, еще меньше понял, а многое просто забыл.

Но если бы я это знал? Как мне вести себя в этом случае? Допустим, например, что кто-то совершенно случайно узнаёт, что любимое дитя его хорошего знакомого через восемь дней умрет, и приходит отец, который хочет поделиться с другом прекрасными планами на будущее этого ребенка. Что говорить в таком случае? Разве что сказать: не трать попусту свои мысли, они ничего не стоят? Или, если кто-то вдруг – один из всех людей – получает надежное известие о том, что завтра начнется всемирный потоп. Спасения нет, уцелеет только один человек, а именно тот, который об этом знает. Как же невыносимо тяжело будет этому человеку пережить время с вечера до утра! Если он сумеет это перенести, то воистину он перенесет тяжелейшее испытание. Если же он расскажет об этом людям, то это приведет лишь к тому – при условии, что ему поверят, а это почти невероятно, – что, по сути, потоп начнется уже сегодня. Следовательно, надо молчать, хотя это непомерно тяжело.

Не будем забывать, что я рассказываю сон; ведь в то время, когда мы, по идее, сидели за столом, я был совершенно в другом месте. Я стоял на пороге моей комнаты. Таким образом, я не исполнил своего намерения, не последовал за птицами и вернулся с половины пути. Но я успел дойти до городской окраины, где дома редкими точками разбросаны по окрестным пустошам. Там меня посетила мысль, что я что-то забыл и мне надо срочно вернуться домой, в мою квартиру. Когда же я открыл дверь комнаты...

Она располагалась под крышей; мне никогда не хотелось, чтобы надо мной ходили люди, давили на мой потолок, вынуждая меня принимать и поддерживать лишнюю тяжесть. Комната была удлиненной формы, не очень высокая. Окна выходили на городское предместье, на бескрайний простор. Была еще одна каморка, где я спал и мылся. Сколько жизней прожил я в этой комнате! Их не сосчитать. Какие дальние путешествия я совершал, мысленно выходя из окна и возвращаясь! Бывали моменты малодушия, когда я думал: как я устал, я не могу больше, ведь ни одно мгновение не был я в той комнате один. В назначенный час всегда кто-то приходил. Люди приходили и уходили. Многие являлись издалека, оттуда, где они жили, после того как отворачивались от своего тогдашнего бытия. Было, однако, незаметно, что они оставили за спиной долгий путь. Они не были измождены дорогой, они просто входили в дверь, словно давно ждали у порога и всегда были здесь. Некоторые проходили насквозь, не видя меня; может быть, они просто не желали меня видеть. Я не осмеливался с ними заговорить, ибо чувствовал, что они не хотят, чтобы им мешали. Другие задерживались, смотрели на меня, но потом уходили и они. Долго потом думал я об их взглядах. Но немногие оставались здесь, садились рядом, и мы разговаривали с ними ночи напролет. Они не собирались ничему меня учить – напротив, они стремились что-то узнать от меня. Между прочим, мы говорили не только о важных вещах; бывали моменты, когда мы поднимали на смех весь мир. Я варил на спиртовке кофе, и мы выпивали бутылочку-другую вина. Однако когда речь шла о действительно очень важных вещах, могло случиться, что к нам присоединялись и другие гости, которые как будто выжидали на лестничной площадке момента, когда прозвучит нужное слово, чтобы войти. Таких

гостей было великое множество. Это было бескрайнее колосющееся поле, простиравшееся до горизонта и даже дальше; детали были видны только вблизи, а дальше все остальное мягко колыхалось из стороны в сторону. Я уверен, что они приходили не из-за меня, а ради того только, чтобы послушать первым пришедшего гостя. Они окружали его призрачной толпой, и я не всегда мог хорошо их рассмотреть. Было ясно только, что они здесь. Сами они ничего не говорили, они только слушали. Но надо было видеть, с каким детским вниманием они это делали – будто от этого зависела вся их жизнь. От некоторых фраз они радостно вспыхивали; вся комната озарялась тогда розоватым отсветом. Они одновременно кивали, словно желая сказать: ты видишь, все так и есть, и по полю прокатывался шелест. Были и такие, кто не оставил в моем сердце никакого следа, так как не могли решительно разобраться со своим бытием. Задерживались они ненадолго, они лишь ждали, прислушивались и надеялись.

В большинстве своем мои гости были мужчинами, но, естественно, приходили и женщины. Перед некоторыми из них я трепетал от страха, ибо угодить им было невозможно, и я ощущал в их присутствии свою полную никчемность. Они ко всему придирались и высокомерно все критиковали, и я чувствовал себя бестолковым ребенком. Входили они бесцеремонно, задиристо выставив вперед грудь, и смотрели на меня свысока. Да, казалось, что они выше меня на целую голову. Я не хочу злословить; в определенном смысле они были вполне правы, иначе они бы не приходили, но все они ждали от меня того, что я, по их мнению, должен был делать, и я очень радовался, когда они исчезали. Дамы иного сорта были мне по меньшей мере столь же неприятны. Они входили шаркающей походкой так тихо, словно на ногах у них были не туфли, а тапочки. Эти женщины производили впечатление чего-то непомерно разбухшего. Мешки под глазами и отвисшие подбородки; плоть их была бледной и обрюзгшей; во всех движениях сквозила усталость, а голос баюкал и усыплял. Собственно, они все время вздыхали. Выпроводить их из дома было невероятно трудно, особенно после того как они надежно обосновывались в моей комнате. Больше всего ненавидел я одну маленькую старуху; из-за нее я часто уходил из дома, предпочитая ночами болтаться по улицам. Вернувшись на рассвете, я приоткрывал дверь и заглядывал в щелку, чтобы узнать, здесь ли она еще. Говорила она со мной только снизу вверх. Шея у нее была изогнута, как змея, а голову она всегда держала склоненной набок. Это должно было изображать доброжелательность, и на самом деле, все ее слова были исполнены дружелюбия и заботы. Нет на свете, однако, ничего более ядовитого.

Да и другие женщины, милые и молодые, все как на подбор были очень серьезны. Я не хочу этим сказать, что ко мне должны были приходиться только особы легкомысленные и кокетливые. Но почему среди них не было женщин просто веселых? Приходившие ко мне женщины и говорили меньше мужчин; это не соответствует общему мнению о болтливости женщин. Не следует всерьез принимать поверхностные суждения, напоминающие пустой шум; за болтовней прячется молчаливость. Они подходят к столу, переставляют на нем предметы, разглаживают складки на скатерти. Потом они говорят: «Ну и?» Если же я их настоятельно просил, то они садились и смиренно ждали. Некоторые садились рядом со мной за письменный стол, когда я поднимал глаза. Ах, как долго и как терпеливо они умели сидеть! Нет, они мне не мешали, но глаза их неотступно смотрели на меня. Иная женщина время от времени мне улыбалась, но из этого всегда выходило, что я откладывал перо и шел к ней, потому что она казалась такой потерянной, что меня охватывало ощущение полной беспомощности. Вероятно, в такие моменты самое лучшее, что мог сделать кто-то из нас, – это поплакаться другому в жилетку. Но мы, мужчины, не позволяем себе плакать и давно разучились это делать. Да что там, мы просто панически боимся слез, боимся настолько, что и при женщинах прибегаем к немислимым ухищрениям, чтобы их скрыть. Мои посетительницы по той же причине тоже не плакали, хотя часто им хотелось заплакать, и это было бы поистине целительно для обеих сторон. В таких случаях я не придумывал ничего другого, как погладить грустную женщину по волосам и попросить ее остаться у меня на ночь. Мы обнимались: не из любви, а просто потому,

что не знали, что еще можно делать. Но такое происходило редко. Когда я утром просыпался, то обнаруживал, что женщина давно, не потрудившись меня разбудить, ушла. Отпечаток ее заботы был ясно виден на подушке рядом с моей головой, а запах ее пропитывал меня с такой силой, что мне казалось, его замечали люди, с которыми я сталкивался на улице или в городском транспорте.

Однажды была у меня совсем юная девочка, подросток лет четырнадцати. Несмотря на зимний холод, одета она была в своего рода рубашку из тонкой материи, достававшую ей до босых ступней. Она грела руки у печки; руки ее насквозь просвечивали красноватым жаром, исходившим из открытой печи. Светились линии ее затылка и волоски на коже. Сердце тревожно билось от нежности. Не помню, чего она хотела. Я не отважился ее спросить; я бы только напугал ее. Мне было достаточно того, что она согрелась.

Только теперь я вдруг понял, что гости мужского пола и женщины никогда не приходили вместе или одновременно. Обычно, в иных случаях, представители разных полов стремятся к единению, стараются быть как можно ближе друг к другу и пытаются сгладить разницу, мои гости никоим образом не выказывали такого устремления и держались с такой отчужденностью, как будто и знать не знали о существовании друг друга. Да, было такое впечатление, что они обитали в разных мирах.

В связи с этим мне не дает покоя одна пугающая мысль. Что, если мое имя и мое зеркальное отражение тоже жили где-то, неведомо где, отдельно от меня? И что, если в этот миг мое имя обращается к другому имени и говорит ему что-то, но я не знаю что? Кто скажет мне, не погибло ли оно? Или оно сидит сейчас на краю постели какой-нибудь женщины, которая обманывается его звучанием? Или женщина не позволит обмануть себя таким образом?

Как мне подтвердить и доказать это? Эта мысль о том, что может существовать другой мир имен, и этот мир намного могущественнее нашего, и теперь я стою здесь совершенно лишний и никому не нужный, эта мысль пугает меня настолько, что я теряю дар речи.

Но нет! Это я пережил сам.

Когда я вошел в комнату, то увидел отца, сидящего на диване. Голова его была опущена на грудь, отчего борода встопорщилась на подбородке. Уголки его большого красивого рта устало свисали. Губы изогнулись, как крылья чайки. Волосы были всклокочены. Даже во сне тягостные мысли не оставили его и продолжали тревожить, оставляя следы на высоком лбу.

Увидев отца, я глубоко вздохнул от любви и благодарности. Изо всех сил стараясь не шуметь, я закрыл дверь, но отец проснулся от этого тихого шороха. Было видно, что он утомлен сверх всякой меры. Тени под глазами и брови составляли темные круги, напоминавшие оправу очков. Но глаза сияли, как два темных ласковых солнца.

Всякий раз, встречаясь с ним на улице или дома, в моей комнате, я тотчас задумывался о том, что я могу для него сделать – пусть даже ценой моей жизни; ибо я уверен, что он убогавается недостаточного внимания, что его даже отталкивают в сторону, как будто он стоит у кого-то на пути; да, собственно, и он сам не слишком настаивает на своих правах. Но мне всегда казалось, что делаю я для него недостаточно, и я всегда испытывал по отношению к нему чувство вины и неисполненного долга. Так было и на этот раз, и, думаю, он сразу и безошибочно это заметил. Он махнул мне рукой, приглашая сесть рядом с собой, и спросил:

– Хочешь спасти дневники?

Только теперь я впервые увидел, что он их читал. Он мог себе это позволить, ибо мне всегда казалось, что я веду их для него. Да, собственно, для кого еще? Над дневниками он и уснул.

– Нет, – ответил я, – пусть все будет, как будет.

Он дружелюбно кивнул мне. Конечно, я все же думал о дневниках.

– Иди сюда, – сказал он. – Возможно, мы не скоро увидимся снова. Кто знает, что произойдет, не мне судить и знать. Ты же и сам понимаешь, что это не зависит от меня.

Я все понял. Он хотел сказать, что все зависит от меня. Это была его обычная манера – наводить меня на нужные мысли намеками. Он робко избегал всего, что могло звучать как требование.

– В любом случае, давай посидим здесь вместе; может быть, если это нужно, зайдет кто-нибудь еще.

Ах, не хочу я рассказывать об этом дальше. Позже – да. Но, может быть, и нет. Ибо какими словами говорить мне об этом раннем вечере и о нашем тесном единении? Учтите, это был мой настоящий отец. Не тот, который именовался моим отцом в официальных документах, потому что он подписал заявление о том, что зачал меня вместе с одной женщиной, – об этом я тоже однажды расскажу, но это уже другая история. Нет, мне выпало счастье найти своего родного отца.

Это случилось на улице. Возле Кантштайна стояла подвода, запряженная парой тяжело-возов. Толстые космы шерсти ниспадали на копыта. Какой-то человек разговаривал с конями и кормил их ржаными хлебными корками. Тогда-то я услышал его голос и удивился, что не все его слышат, хотя он говорил очень отчетливо и не понять его было невозможно. Тогда-то до меня дошло, что это был мой отец. С тех пор как это произошло, я никогда больше его не слышал. Я очень внимательно прислушивался, ибо не могу себе представить, что его голос мог пропасть. Может быть, это означает, что я теперь говорю так же, как он, и его голос остался со мной. Но кто на это способен?

За столом, где шел оживленный обмен мнениями, хозяйка вместо меня ответила на вопрос, заданный моим так называемым другом.

– Почему ты считаешь, что мы должны знать об этом лучше других? – сказала она.

Не могу доподлинно утверждать, что этим вопросом она вывела его из равновесия; он отлично умел следить за своей мимикой в любых ситуациях. Он уставил на мою соседку неподвижный взгляд и бесконечно долго смотрел на нее, прежде чем спросить: «Мы?»

Вполне может быть, что это короткое слово и не было произнесено вслух и что остальные гости ничего не заметили; да, вероятно, я был единственным человеком, который подумал, что слышит это слово. Я уже говорил, что он знал мои мысли и умел выражать их вслух. Он медленно перевел взгляд на меня, так медленно, что образ женщины, сидевшей рядом со мной, на которую он так внимательно смотрел, остался в поле его зрения; еще я успел увидеть, как она едва заметно кивнула в ответ на его вопрос. Потом он заговорил в своей обычной манере.

– Есть только два объяснения тому, что мы сегодня наблюдали, – произнес он своим мощным звонким голосом так, будто объявлял не подлежащий обжалованию приговор. – Либо обе эти смехотворные птицы на самом деле были здесь, и абсолютно неважно при этом, откуда они взялись, сколько их существует и что они могут причинить нам, – это может означать, что возможны вещи, которые мы, в согласии с нашими знаниями, считаем невозможными. Другими словами, речь идет не о вещах, о которых мы только пока не можем сказать ничего определенного и которые, по мере прогресса нашего познания, будут, без сомнения, исследованы – завтра или послезавтра, но о неведомом, каковое никогда не принималось в расчет и никогда не будет приниматься. Так же как эти птицы, неведомое может в любой момент вторгнуться в наше бытие, и нам останется лишь признать, что наши знания равны нулю и абсолютно бесполезны. Либо существует и другое объяснение: этих птиц здесь не было; все люди просто вообразили, что видели их. По своему воздействию оба варианта практически одинаковы; возможно, второй вариант хуже. Именно он означает, что мы не можем опереться ни на самих себя, ни на то, что нас окружает, иными словами, на то, что мы создали силой нашего разума, и на то, что, как нам кажется, мы подчинили; ибо, если мы принимаем наше воображение за действительность, то мы тем самым обесцениваем все, что до сих пор считали действительностью. Можно выразить это и более отчетливо: в таком случае мы едва ли имеем право именовать себя людьми в том смысле, в каком до сих пор понимали это слово, в этом случае мы вместо этого можем

называть себя существами, которые сегодня превращаются в одно, а завтра в другое, в зависимости от того, какие фантазии покажутся нам краше. Существо – это, пожалуй, еще громко сказано; мы были бы изменчивые, призрачные формы этого безграничного влечения.

Его слушали не перебивая, но, хотя его речи внимали с большим напряжением, мне показалось, что гости восприняли эту тираду всего лишь как интересное продолжение застольной беседы и ждали остроумной концовки. Иначе все они были бы не на шутку напуганы.

– Но к какому мнению склоняешься ты сам? – спросила моя соседка, и вопрос ее прошелестел, как теплый выдох.

– Как бы странно это ни звучало, моя уважаемая... – ответил он. Но имя? Произнес же он какое-то имя? – Я считаю, что речь в этом случае идет о воображении. Во-первых, меня озадачило то, что это событие, по часам, длилось едва ли одну секунду. Мои часы до сих пор идут. Я завел их вчера, перед сном. Часы наших друзей и приятельниц тоже продолжают точно показывать время. И часы церквей тоже. Все эти часы показывают одно и то же время. Есть ли на свете что-либо более добросовестное, чем часы? Честь и хвала нам за то, что мы их изобрели и сконструировали! Если допустить, что часы, солнце и наши бьющиеся сердца вдруг возьмут паузу, то что, понятие времени будет уничтожено? Что это будет? Пауза? Обморок? Мы тотчас должны спросить: сколько времени продолжалась эта пауза? Мы просто не можем по-другому. Что, если эта пауза продлится дольше? Но об этом нельзя и помыслить. И как должны мы вести себя после этой паузы? Для многих это будет момент невыносимого отчаяния. Я сказал странную вещь, поскольку я так думаю, – в его словах просквозило что-то похожее на нежность. – Я не считаю себя непогрешимым, но в чем я могу в первую очередь себя упрекнуть, так это в том, что я под влиянием чувств и настроения легко поддаюсь самообману.

С этими словами он поднял бокал с искрящимся в лучах вечернего солнца красным вином и выпил за здоровье хозяйки.

Но дальше он говорил уже угрожающим тоном: «Если же я, соответственно сказанному, признаю, что и я стал жертвой собственного воображения, то это нисколько не меняет моей позиции. Лучше, чем гоняться за неведомым и тем самым подтверждать его существование, нам следует изучать самих себя, чтобы понять, что заставляет нас считать, что неведомое существует. Поведение одного древнего естествоиспытателя, который, узнав об извержении вулкана, поспешил туда, чтобы лично наблюдать это редкое событие, и лишился при этом жизни, является для меня единственно достойным поведением человека. И я не желаю отказываться от привычки быть человеком. Если завтра суждено случиться какой-нибудь природной катастрофе, будь то потоп или столкновение в космосе, или если рухнут все твердыни, если люди станут животными, пусть даже такими бредовыми птицами, как те, которых мы себе сегодня вообразили, то не потому, что я считаю своей задачей сохранить хоть что-то от нашего сегодняшнего знания для потомков – как только дошел я до такого благородства? – но потому только, что это интересно – изучать ход такого наводнения и мое при этом поведение, да, только по этой причине желаю я остаться на Земле последним и единственным человеком. Я готов». Это было объявление войны. Мы посмотрели друг на друга. Как чисты и прозрачны были его глаза – в них не было ни одного теплого оттенка, ни намек на мрачную нерешительность. Его глаза ослепили меня, и я все глубже и глубже проникал в его взгляд, стараясь достичь дна столь необъятной выразительности. Я долго ощущал себя словно в пустоте. Но в конце я уперся в ледяную стену. Он ненавидел меня.

Эта ненависть глубоко опечалила меня. Мне следовало уйти от столкновения – отец точно бы его избежал, – но я сказал:

– Ты забыл о страхе.

– О страхе?

– Да.

– Не хочешь ли ты разыграть мужество, упоминая о страхе?

– Я просто упомянул его. Сам не знаю почему.

– И что следует из твоего страха?

– Этого я не знаю, – ответил я.

– Можно ли считать это возможным? – обратился он к моей соседке, а потом снова перевел взгляд на меня: – Ну хорошо, мой дорогой. Я, который не избран и поэтому должен сохранять бдительность, скажу тебе, что я настороже, но не испытываю страха перед планами избранных в отношении меня. Отсюда следует, что это ложь, а мы сидим за богатым столом и ведем себя так, как будто ничего не происходит. И отсюда следует, что сегодня мы собрались здесь в последний раз.

Можно было ожидать, что после этих слов все вскочат со своих мест и тотчас побегут готовиться. Но ничего такого не случилось. Рука с опаловым перстнем по-прежнему лежала на моей руке, а все сохранили полную невозмутимость и спокойствие. Все принялись обмениваться шуточками насчет того, что каждый из нас будет делать, случись завтра всемирный потоп. Наконец, одна молодая женщина, с которой все согласились, сказала: «Сегодня вечером я наделаю бутербродов и положу в чемодан новое платье. Мы хотим и в потопе хорошо выглядеть».

Мы собрались вместе, чтобы быть счастливыми.

Я часто вел такие разговоры с человеком, который был мне другом. По большей части говорил он, обращаясь ко мне, а я в ответ молчал. Я молчал, потому что всегда обнаруживал, что он прав. Часто я думал: почему я не такой, как он? Сейчас, наверное, было бы лучше. Да, меня поражает, что не он стоит здесь вместо меня. Все говорит за то, что он бы имел успех. Он был более мужественным, более гордым и никогда не позволял себе запутываться в мелочах, в то время как я часто, делая какой-то шаг, за мгновение до этого и сам не знал, что я его сделаю, а потом прикладывал мучительные усилия, чтобы исправить положение. Он говорил бы не так, как я, он бы выставил себя на посмешище, да он бы и сам первый смеялся над собой, но в том положении он бы ни минуты не медлил и не сомневался, делая каждый миг то, что считал самым необходимым.

Но он умер, а я стою здесь. Я очень хорошо знал, что ему суждено умереть, и поэтому я любил его, а он меня ненавидел. Он думал, что таким образом я лишь хотел принудить его к молчанию.

Я молчал в ответ на его речь, и он, приняв это за насмешку, стал еще более резким в своих формулировках. Он попросту не верил мне, когда я с ним соглашался. Он воображал меня умнее, чем я есть на самом деле, но никогда бы не признался в этом.

Например, я никогда бы не стал говорить с ним о моем отце или о других, кто иногда посещал меня. В самом начале я уже однажды выдал себя. «Как так? Ведь этот человек умер! – тотчас возразил он в ответ на мой намек. – Он умер тогда-то и тогда-то. Это можно доказать в любой момент». И он назвал мне точную дату. На это я, естественно, промолчал; мне было очень больно в таком тоне спорить об отце. Он, однако, решил, что я насмехаюсь над ним, и, разозленный, ушел.

Хотя с тех пор я никогда не говорил об отце, этот человек не прекратил своих скрытых нападков. «Что говорит по этому поводу твой отец, который давно сгнил в могиле, да к тому же никогда не был тебе отцом?» Мне часто приходилось слышать от него нечто подобное. При этом я твердо убежден в том, что он так же хорошо знал моего отца, как и я. Но почему же он тогда так ожесточенно на него нападает? Ведь если бы мой отец на самом деле уже умер, то не было бы никакой необходимости так на него ополчаться. Отец часто сидел с нами, когда мой друг находился в моей комнате, и отец по своему обыкновению всегда слушал его, храня гробовое молчание. Отец иногда сидел почти рядом с этим другом, и порой друг, что-то говоря, обращался к отцу, а не ко мне. Но он всегда говорил так, словно старался убедить отца в том, что его на самом деле не существует. Собственно, даже если он и в самом деле не видел моего

отца – а такое было вполне возможно, ибо движения друга явно изобличали в нем слепого, – он мог испытывать постоянное, непреходящее ощущение, что мой отец его слышит.

У нас с отцом было молчаливое соглашение – никогда не говорить о моем друге. Мы считали его лунатиком, которого не смеешь окликнуть из опасения, что он упадет с высоты. И он жил словно в хрупком стеклянном футляре. С виду все было светло, ясно и упорядоченно. Но свет тот не светил вовне, и поэтому все, кто жил внутри, натываясь на стенки футляра, были уверены, что никакого «вне» не существовало, и очень радовались тому, что могли целиком окидывать взглядом мир. У нас все в полном порядке и согласии, радостно говорили они, и на это было нечего возразить. Если вдруг на их мир падала незнакомая тень, они тут же изменяли числа так, чтобы все снова пришло к согласию. Эти изменения давались им с большим трудом.

Я заговорил с моим другом о женщинах только в самый последний момент. Этот разговор, собственно, начался за столом, и после этого его уже было не избежать. Следовало бы, конечно, начать его раньше; возможно, тогда многое можно было обойти. В этом отношении мы оба повели себя нечестно. Я не знаю, что мешало ему говорить о женщинах и вести себя так, как будто женщины вообще не играют никакой роли. Я, со своей стороны, молчал, ибо мне было бы неприятно и больно, если бы он принялся классифицировать женщин согласно числам и понятиям или если бы он пустился в рассуждения, что суть женщины лишь в том, что она предмет телесной потребности. И опять-таки, я не был настолько уверен в своей правоте, чтобы отстаивать ее в открытом споре.

Никогда, во всяком случае до сих пор, я не упоминал при нем мою мать. Он бы тотчас ответил мне: «Да этой женщины не существует. Это выдумка слабака!» Должен признать, что здесь я бы попытался ему поверить.

Мать никогда не приходила в мою комнату. Думаю, что не один раз стояла она у двери и уже бралась за ручку, но уходила, потому что я отказался бы ее впустить. Я просто не желал этого допустить. В этом отношении я был ровней моему другу. Я вел себя так, будто никакой матери у меня не было.

Естественно, поэтому для меня не существовало и детства. Я слышал, как о детстве говорили другие, и раздумывал, не было ли и в моей жизни чего-то подобного. Я старался мысленно вернуться назад, в прошлое, но никогда не заходил дальше той деревянной беседки, о которой уже рассказывал, но тогда я был уже довольно большим мальчиком. Мое имя уже тогда подстерегало меня в кустах. Я пытался отворить дверь, за которой, как мне казалось, было мое детство, любопытствуя, не смогу ли и я, как другие, сотворить из него некое веселое и беззаботное существо. Мне казалось, что там, за дверью, вокруг большого стола ужинают какие-то люди. Женский голос шелестел: «Быстро все убрали!» Было слышно, как кто-то торопливо давится куском. Мужской голос удивленно спросил: «Что вообще случилось?» Женщина в ответ прошипела: «Кто-то идет». Следующая фраза, очевидно, была обращена уже ко мне: «Ах, как мило, что ты пришел. Как жаль, что мы уже поели. Но, может быть, в чайнике еще осталось воды на чашку чая».

Все это было мне страшно неприятно, и я оставил всякие попытки лучше в этом разобраться. Вполне возможно, что о моем рождении просто забыли и теперь людям было стыдно и неприятно вспоминать об этом упущении. Во всяком случае, до сих пор я неплохо обходился без детства, но если возникнет такая необходимость, то я всегда смогу наверстать упущенное.

Но уже в тот день все должно было измениться, если бы не было слишком поздно.

Однако сейчас хочу рассказать о разговоре, который я незадолго до того имел с моим другом. Я подумал о нем после застолья. Тогда было сделано одно изобретение, напугавшее даже своего автора. Я забыл, в чем оно заключалось; уже тогда оно не казалось мне столь важным, как многим другим. Как и все сделанные людьми изобретения, его можно было использовать как для сохранения жизни, так и для ее уничтожения. Мой друг был переполнен мыс-

лями об изобретении, когда в один из дней переступил порог моей комнаты. Присутствовал при этом и мой отец.

– Вот увидишь, – закричал он от двери, – мы одним ударом сможем все уничтожить! – Он вещал так, словно был страшно горд этой возможностью. Да, он и в самом деле был горд той мощностью, которую, как ему казалось, он держал в руках. Возможно, он имел какое-то отношение к изобретению, ибо очень хорошо был осведомлен о решении его использовать. Вопреки своей обычной сдержанности, он на этот раз изъяснялся приблизительно так: – Земля вспыхнет пламенем. Обитатели других миров скажут: смотрите, вспыхнула новая звезда! – Он торжествующе посмотрел на меня.

– Нет, – ответил я, – это невозможно.

– Почему невозможно? Только потому, что ты этого не хочешь?

– Потому что ни одно живое существо не может убить себя, – сказал я.

– Почему нет? – удивленно спросил он. – Я же могу повеситься или застрелиться.

– Но ты же не можешь задушить себя собственными руками; но пусть даже и так – все равно ты до этого уже был болен и созрел для смерти; потому-то ты и пытаешься убить себя. Дерево падает под напором ветра, потому что оно гнилое или у него слишком слабые корни. Ну, или человек валит дерево, потому что оно ему нужно. Но дерево не само себя убивает.

– Я не дерево, – раздраженно возразил он, – но я поймаю тебя на твоих же словах. По моему разумению, мы все больные и с гнильцой. Ну а в том факте, что мы в состоянии уничтожить все живое, сомневаться не приходится. – Он доказал мне это научно, и я не знал, что ему ответить. Однако я упрямо покачал головой.

– Ты не веришь в это, – насмешливо произнес он, – потому что ты этого не хочешь.

– Понятно, что не хочу, – согласился я с ним.

– От этого нежелания тебе не будет никакой пользы. Тебя эта сила тоже убьет.

– Возможно, что и убьет.

– Тебя и всех. Выхода нет, – заключил он.

Но на этот раз я не стал так легко сдаваться.

– Ты же сам только что сказал: на других мирах кто-то воскликнет: смотри, новая звезда!

– Да, ну и что?

– Убивают только для того, чтобы жить.

Если бы в комнате не было моего отца, я едва ли бы это сказал. Но я не хотел его разочаровать. Я подумал, что он ждет от меня именно такого ответа, и сказал это для него. Я думал о взгляде отца, направленном на меня во время того разговора, когда после застолья стоял в одиночестве на террасе. Ужин закончился; остальные гости перешли в ту комнату, где я до этого видел книги и рояль. Рядом не было ни моего друга, ни той женщины. К моим коленям жался большой лохматый бурый пес. Я погладил его по холке, и он посмотрел на меня таким же взглядом, каким посмотрел на меня отец, когда я сказал: люди убивают друг друга, потому что хотят жить. Во взгляде была такая уверенность, такая сама собой разумеющаяся надежда на меня, что даже у меня не возникло и тени сомнения в том, что я сказал правду. Эти глаза словно говорили мне: что может случиться с нами? Ведь ты же здесь.

Убивать! Убивать! Сколько убитых ходит вокруг, не сознавая, что они мертвы. Их убили мысли и желания других. Однако этого никто не видит. Все думают: эти-то такие же, как мы. Они совершают такие же движения, и все выглядит так, как должно. Как могут люди узнать, что могло бы из них выйти, если бы не были до времени убиты? Да, убитые живут рядом со своими убийцами, сидят с ними за одним столом, спят в одной постели, ибо и сам убийца давно забыл о своем злодеянии. Если бы они это осознали, стало бы еще хуже; они бы без устали беспомощно вопрошали: кто позволил мне это сделать? Но тогда будет поздно; у убитых уже не достанет сил сказать: это я виноват. Я разочаровал тебя. Как отверженные жертвы, побредут они после этого по свету.

Да, только что мне пришлось абсолютно трезво рассудить, должен ли я убивать. Один из спавших вокруг меня людей что-то забормотал во сне, и я испуганно вздрогнул. Я подошел и склонился над ним. Это был мужчина среднего возраста; вероятно, выглядел он моложе своих лет. Длинные жидкие волосы выбивались из-под бесформенной шапки и липли ко лбу. На широком лице терялся нос – короткий и тупой. Несмотря на запавшие щеки и шрам, уродовавший верхнюю губу, черты его лица показались мне мягкими и неопределенными. Да, впечатление было пугающим, ибо его можно было бы принять за женщину, если бы не одежда и щетина. Только рука, судорожно сжатая на груди, была рукой мужчины. В остальном казалось, что это тело до сих пор окончательно не решило, кем оно хочет быть. Впрочем, вполне возможно, что в бодрствующем состоянии это впечатление пропадало, но всегда присутствовало во сне, потому что именно во сне плоть вспоминает, что была рождена женщиной.

Это только один из множества тех, с кем я сейчас вынужден проживать совместно. Ах, это очень опасная мысль! Я попытался понять, что он бормотал. Я слегка приподнял его за плечи, но он выскользнул из моих рук, и голова его мягко, словно в ней не было костей, упала назад, в глину. К своему ужасу, я едва не упал на него. Я вернулся на свой пост и с невыразимым отвращением посмотрел на свои руки. К ним прилипла густая кашицеобразная масса, из которой, казалось, состояло тело того человека. Мне подумалось: если бы он сейчас заговорил так громко, что все другие пробудились бы от его голоса, и если он вдруг – ибо что я о нем знаю? – поведал бы часть того, что было раньше, то что я должен был сделать? А если бы он сделал это утром? Лицо его напоминало едва замешенное, совершенно сырое тесто. Абсолютно чужая судьба могла бы овладеть его собственной и сделать из него то, что невозможно предугадать. В один момент он мог бы стать братом, но мог бы и превратиться в опаснейшего противника. Но что бы из него ни вышло, это не имело бы никакого отношения к его подлинной сущности. В любом случае, он не был бы при этом самим собой. Если бы он устранил, убил меня, то это было делом рук чужака, послужившего дрожжами для этого теста. Понятное дело, что я испугался! Но в первую очередь не за себя. Все снова должно начаться с убийства? После этого злодейства опадет ли это вспухшее тесто?

Мой так называемый друг, имевший обыкновение обращаться ко мне «мой дорогой», не сомневался бы ни единого мгновения; он бы точно знал, что должен делать. Но я – не мой друг. Я и сам-то мало отличаюсь от этого страшного своей бесформенностью лица. Нужда и эта грязь, каковые оскверняют нас до неузнаваемости, это корка, защищающая наше нутро от вымерзания. В данный момент лучшей опоры у нас нет.

Ужасно, что я вынужден говорить о таких вещах! Может быть, все дело в голоде, который довел меня до зловонного дыхания по причине пустого желудка. Хотелось бы мне думать и говорить о чем-нибудь прекрасном. Например, о юных девушках, которые, взявшись за руки, идут по улице. На них новые платья, а в глазах их одна мысль, один вопрос: разве мы не красавицы? Тот, кто это видит, улыбается – от радости и просто потому, что пришла весна. Или о юноше, почти мальчике, который лихорадочно что-то пишет, уверенный, что создает творение, которому суждено потрясти мир. Юноша смотрит в небо и говорит: дай мне еще пожить, я должен окончить мой труд. У тех, кто слышит это, от боязливости восхищения начинается сильнее биться сердце.

Но я теперь таков, что и сам не знаю, как поведу себя, если мне вдруг случится наткнуться в этом грязном мире на цветущий розовый куст. Возможно, мне придут на ум строчки старой песенки:

Зачем ты, роза, не увяла?
Мне некому тебя сорвать.
Промчалось лето, миновало,
Мне ж – лишь былое вспоминать.

Но вполне возможно, что я сорву цветок, уколою себе палец, брошу розу на землю и растопчу ее.

Как я уже сказал, я стоял на террасе один в компании бурого пса. Вокруг, на парапете стены, в зеленых ящиках цвели источавшие тяжелый аромат белые цветы. В их чашечках, жужжа, суетились запозднившиеся пчелы. В парке напротив выводил свои трели певчий дрозд, казавшийся крохотным пятнышком на вершине тополя, который, словно гибкий клинок, отвесно вонзался в вечернее небо. Влюбленная парочка, мерно раскачиваясь, шла по траве к невидимым отсюда кустам. В просветах между деревьями, вдалеке, на противоположном берегу реки, которая угадывалась там, была видна темная линия поросших лесом холмов, которой мир отгораживался от безграничности. Солнце уже опустилось за холмы. Отдельные лучи тянулись к небу, но их поглощала узкая полоска облаков, которая парила над огненным местом заката, напоминая крылья чаек. Над всем этим огромным куполом нависала зеленоватая синева. Всякий, кому, как мне, довелось бы такое увидеть, должен был бы воскликнуть: «Вот она, вечность!»

Как-то незаметно рядом со мной возник мой друг. Я пропустил момент его появления. Я вздрогнул, словно меня накрыла тень одной из тех птиц, о которых так много говорили за столом.

– Теперь они кричат: мама! – сказал он и повернул голову в сторону комнаты, где находились гости. При этом он насмешливо посмотрел на меня.

Мне захотелось положить руки ему на плечи и сказать: «Не лучше ли нам поговорить об этом?» Я хотел, чтобы он высказал все, что я знал. Я не желал ничего от него утаивать. Я бы поговорил с ним об отце и о других, кто бывал у меня. Может быть, я бы даже впервые упомянул мою мать. Как ни был я потрясен, когда он встал рядом со мной, я все же точно знал, как он умрет. Это была моя последняя возможность спасти его и предотвратить то, что должно было случиться. Мне хотелось высказаться и уйти прежде, чем он успеет ответить. Я несколько не сомневался, что после этого он вернется в дом.

Но руки мои как будто налились свинцом, а язык присох к небу. Друг невольно вздрогнул и сказал:

– Спасибо, мой дорогой! Ты очень добр.

Он повернулся ко мне спиной и вышел с террасы по лестнице, спускавшейся в палисадник. Пес смотрел ему вслед. Потом он обернулся и вопросительно посмотрел на меня, словно приглашая следовать за собой. Наверное, я пошел бы вслед за другом, но в этот момент пес завилял хвостом, и женский голос за моей спиной произнес: «Не хочешь войти? Все ушли, мы остались вдвоем».

Всегда находился некто, ведущий меня, и, как всегда оказывалось, единственным правильным путем. То была моя вина, что я не обращал внимания на это и пытался, как глухой своенравный болван, идти другой дорогой. Тогда тот, кто хотел меня вести, печально останавливался на распутье и смотрел, как я, заблудившись, иду неверной тропинкой. Однако эти поводыри никогда меня не упрекали и не говорили мне вслед: «Ты видишь теперь, почему ты тогда не последовал за нами». Нет, они скромно выполняли свою задачу и ждали, когда я им доверюсь.

Так мой брат, лишенный матери, привел меня к моей матери. Откуда мог я догадаться, что он ее знал? Да я бы сам никогда не дошел до той мысли, что это была необходимость. Теперь-то, задним умом, я, естественно, понимаю, что никакой другой возможности просто не было.

Все это произошло в тот день, когда я в последний раз был вместе с отцом. Да и другие, как он и предполагал, продолжали длинной чередой приходить в мою комнату. Сначала мой учитель, которого я очень давно не видел; ведь я воображал, что уже всему научился. Он быст-

рым шагом вошел в комнату, держась очень прямо, несмотря на мучившие его боли, а может быть, именно из-за них – чтобы никто этого не заметил. Только его голова была немного склонена вперед – наверное, под тяжестью обуревавших его мыслей. Перед его пронизательным ясным взглядом могла рассыпаться любая вещь, прежде казавшаяся абсолютно надежной и незыблемой. Эти вещи попросту исчезали, и поэтому казалось, что он источает почти ледяную пустоту. Но, однако, взгляд его не был лишен добродушия, и все обходилось, если человек смиренно доверялся синеве его глаз. Сопровождала его маленькая уродливая собачка, которая была ему, кажется, бесконечно дорога. Собачка старательно лизала пораненную лапу.

Пожав всем нам руки – а у учителя было очень крепкое рукопожатие, – он остановился у полки с книгами и, слушая разговор, принялся читать названия на корешках.

Следующим явился огромный как гора толстяк. Я услышал его сопение, когда он еще поднимался по лестнице, и не смог сдержать улыбку. Улыбнулся и отец; мы не могли ничего с собой поделаться; уже само это сопение подняло нам настроение. А уж какой лучезарной улыбкой одарил он нас, когда наконец добрался до двери, задержался на пороге и, стараясь отдышаться, дружелюбно помахал нам рукой. Он едва протиснулся в дверной проем, тесна была ему и комната, куда он в конце концов вошел, заполнив ее своим громадным телом. И дело было не только в его толщине, но и в обаянии его личности. Он двигался с вальяжностью важного господина, все его слушали, и ничто не могло устоять под напором его неумной жизнерадостности. Когда он смеялся, смех, казалось, исходил из бездонных глубин, и веселые его раскаты сотрясали все вокруг – людей, мебель, книги. Под этот смех можно было плясать, он звучал как завораживающая музыка.

Он похлопал меня по спине своей мясистой рукой, словно хотел сказать: «Мой мальчик, главное – ничего не бойся!» Отец крикнул ему:

– Сюда, дорогой дружище! – и указал рукой на кресло рядом с собой, на которое тот, кряхтя, уселся.

Мне кажется, он очень плохо видел или вообще был слеп. Но это нисколько ему не мешало; он превосходно воспринимал мир ушами.

Мы довольно долго чего-то ждали, а они оживленно болтали, я уже не помню о чем. Должен признаться, что я, стоя у двери, напряженно прислушивался. Ибо того, кто должен был прийти, я почитал превыше всех остальных и очень боялся не выдержать его строгих суждений. Беспокойство проявляли и отец с учителем, хотя и пытались изо всех сил это скрыть. Только толстяк оставался беззаботным – он был уверен в себе на все сто процентов.

Наконец пришел тот, кого я ждал; явился он в сопровождении моего брата. Наверное, они встретились только на лестничной площадке, но, возможно, и раньше. Между прочим, мой брат был самым младшим из нас, младше и меня. К моему удивлению и огорчению, я увидел на его голове повязку: в области лба, справа, бинт был слегка пропитан просочившейся кровью. Я, конечно, знал, что он прежде поранил голову в каком-то происшествии, но это было давно, рана зажила, и он уже ходил без повязки. Должно быть, он получил новую травму или, может быть, открылась старая рана.

Я всегда волновался и переживал за него. Он быстро воодушевлялся, но так же быстро и разочаровывался, и мне всегда было страшно, что одно случайно оброненное слово может однажды ввергнуть его в пучину отчаяния. Никто лучше меня не знал, какую нежную застенчивость маскировали его эксцентричные выходки и какая неумная жажда жизни скрывалась за циничной гримасой, кривившей его губы. Поэтому для него не было никакого противоречия в том, чтобы в какой-то момент сделать нечто противоположное тому, что он вполне серьезно утверждал всего минуту назад, а когда люди чувствовали себя одураченными, он еще и смеялся над ними. Собственно, так я с ним и познакомился. Он сидел на веранде кабачка в компании нескольких студентов, которых он развлекал своими остротами. Студенты были пьяны и хохотали над каждым его словом. Кстати, и он сам тогда был студентом. Я сел за соседний

стол и сразу заметил, как он пару раз оглянулся и посмотрел на меня, как будто хотел удостовериться, что и я тоже смеюсь его шуткам. Наконец шум стал тяготить меня. Я встал, рассчитался и вышел из кабака. На выходе с веранды он вдруг оказался рядом со мной и, не поинтересовавшись, есть ли у меня потребность в его обществе, заговорил: «С кафедры нас учат, что вон те горы, эти деревья и фронтоны домов, и вон те лужи там, в которых отражаются звезды, и этот ласковый ночной ветер, шелестящий в арках ворот, и смех, доносящийся с луга, – короче все, что нас окружает, вероятно, на самом деле является совсем другим и перестает быть таким, когда мы перестаем его воспринимать. Люди, рассказывающие нам об этом, занимают кафедры и профессорские должности, они хорошо говорили, убедительно, но за что прикажете держаться нам, которые, выходит, по сути, ничто?» И пока мы рядом с ним шли по улицам старого города, он продолжал говорить об этих вещах с девической нежностью, вполне подходящей к ласковому теплу летней ночи. Однако в какой-то момент он вдруг остановился посередине фразы и – словно это было чем-то само собой разумеющимся – сказал: «Пойдем к девкам, там мы сможем вести себя по-скотски». И мы пошли к девкам. Он чувствовал себя с девушками как рыба в воде, шутил и веселился; я же чувствовал себя скованно и ждал, что из всего этого выйдет. Однако одна из девушек наклонилась ко мне и попросила: «Забери его отсюда, мне так его жалко». Я не знаю, что побудило ее к этому, но у меня с глаз словно спала пелена; я понял, насколько она права: из всех, кто старался здесь поупражняться в непристойности, не было второго такого же чистого парня, как он. Она говорила так тихо, что он просто не мог ее услышать, но тем не менее он услышал, ибо взял шляпу и покинул дом. На улице он попытался по-мужски сплюнуть и выругался: «Чертовы бабы, никак не поймут, для чего они созданы!»

Мы часто засиживались с ним допоздна; вообще я по большей части проводил время с ним. Таким образом я многое узнал о нем, узнал то, в чем он никогда бы не признался в ответ на откровенный вопрос. Например, если бы я спросил его, почему он так беспокоен, он бы ответил: «Все очень просто, я так веду себя из страха! Однажды на улице мне повстречался один человек, невероятно потрепанный и опустившийся. Вид его был настолько ужасен, что просто пройти мимо было невозможно. Глаза же у него были нежными и ласковыми, как у козули. У меня в кармане были кое-какие деньги, я дал ему часть своих, купил ему хлеба, спросил, как его зовут и где он живет, чтобы на следующий день купить и принести ему одежду. Он назвал мне адрес дома престарелых в бедном квартале. Однако, когда я туда пришел, выяснилось, что там не знают такого человека. Управляющий сказал мне, что я, вероятно, нарвался на какого-то бродягу, который меня попросту обманул. Собственно, в этом не было ничего ужасного. Но то, что я увидел в этом доме престарелых, на самом деле едва не вышибло меня из седла. Там проживали самые настоящие старики, годившиеся мне в прадедушки, и ждали, когда им дадут поесть. В руках у них были липкие грязные миски, куда им накладывали их порции. Говорили они так: «Что сегодня будет: капуста или рыбный суп?» Я уже не говорю о неопишуемой вони и грязи. Меня чуть не вырвало. Получив свой суп, – при этом они внимательно следили, чтобы такой же древний сосед не получил порцию больше, – они расплзались по темным углам, чтобы выхлебать свою пайку. При этом из их ртов стекали слюни, а из носов водянистые сопля. Разве не может это зрелище вызвать отвращение к природе, которая устраивает все именно таким тошнотворным образом? С тех пор меня мучает первобытный страх, что в один прекрасный день все люди станут такими, как эти старики, что люди будут жаждать лишь тухлой похлебки, а их самих будут жрать паразиты и насекомые. И самое страшное то, что, наверное, и я стану таким же».

Но мне думается, что это была бы пустая отговорка, а причина на самом деле в другом. Он перепробовал множество профессий, но ни на одном рабочем месте не удерживался дольше трех месяцев. Постоянно менял он и города. Вначале, приезжая в какой-то новый город, он говорил себе: ну, наконец-то я нашел что-то подходящее. При этом он старался привлечь на

свое новое место жительства и других. Но потом он вдруг исчезал, и проходило довольно много времени, прежде чем от него приходила весточка, а до этого никто не знал, где он и жив ли еще. Он был круглый сирота. Родители его умерли, когда он еще лежал в колыбели. Должно быть, воспитывали его какие-то родственники. Могу предположить, что причиной его странностей было отношение к нему этих родственников. Не надо думать, будто я хочу их в чем-то упрекнуть, ибо этого мальчика и тогда было трудно понять. Но, вероятно, повлияло на него и что-то еще. Может быть, за столом они, жуя, лениво спрашивали друг друга: доколе? зачем? когда, наконец? Я сделал это заключение из того, что он испытывал особое отвращение к обедающим и насыщающимся людям. Но эту тему я так и не осмелился затронуть.

Он утверждал, что я точно такой же, как он. Это не вполне соответствовало действительности. Но он приходился мне младшим братом: в этом не было никаких сомнений. Иногда, при первых проблесках рассвета, он подходил к окну и устремлял свой взор в неведомое. Потом он внезапно оборачивался; глаза его при этом светились верой и радостью: «Знаешь, давай умрем вместе». Должен сознаться, что он меня почти уговорил. Он вел себя как любовник. Как я уже говорил, матери у него не было, и это многое объясняет.

Однако повязка на голове очень ему шла: она делала его лицо мужественным, а его самого похожим на воина.

Он рывком распахнул дверь перед другим посетителем, с которым пришел вместе, и, отвесив резкий поклон, пропустил его вперед. Он лукаво подмигнул мне, словно проказливый внук из-за дедушкиной спины. Если бы я еще знал имена этих людей, у меня не было бы нужды столь пространно их описывать. Но так как я не знаю имен, то мне приходится обходиться условными наименованиями: отец, брат, учитель и мастер, и, видимо, этого вполне достаточно. Должен еще сказать, что это не я выбрал их в родственники и образцы, это они выбрали меня, чтобы исполнить свой душевный долг. Это случилось почти против моей воли; я часто страстно желал жить, как все, без поручений и поручителей. Я вздыхал и думал: «Почему я?» Они могли бы отбросить меня с той же легкостью, с какой выбрали, если бы я не удовлетворил их требованиям. Но тогда я бы совершенно потерялся, так как пути к обычной, как у других, жизни для меня не существовало, как если бы его начисто перекрыли. Спротивляться было бесполезно и невозможно.

Для нового пришельца у меня, впрочем, не было подходящего прозвища. Вероятно, прежде у него было какое-то особое имя, которое он посчитал ненужным, заменив его каким-то значащим эпитетом. Я не отважился обратиться к нему первым даже в мыслях: ни с просьбой, ни с жалобой, не говоря уже о какой-нибудь резкости. Уважение не допускало такой бесцеремонности.

Но как мне его назвать, как обозначить? Понятно, что он был строгим и единственным в своем роде судьей. Он, прямой как палка, стоял посреди ничто, словно воплощение самого закона. Как оказалось впоследствии, в один критический миг он высказал суждение, которому все последовали, и, возможно, это спасло мир. Но это обозначение было бы для него слишком односторонним. Когда говорят о судьбе, подразумевают и обвиняемого, и огромные, неприступные барьеры, разделяющие их. Однако тот, о ком я сейчас говорю, был выше этого, но был при этом доступен, если в данном случае допустимо такое выражение. Дело в том, что тяжкое бремя судейства, доставшееся ему, не убило в нем человеческое, но просто скрыло его. Мысленно я называл его пращуром, и это прозвище в наибольшей степени соответствовало его сущности. Но не следует понимать под этим нечто старческое – на самом деле мой отец был старше и выглядел старше – имя это лишь подчеркивало его ранг и степень благоговения, какое мы все испытывали по отношению к нему.

Все разом посмотрели на него, как только он вошел в комнату. Мой отец, невзирая на возраст, проворно вскочил с дивана и пошел ему навстречу. Толстяк тоже попытался встать, но, кряхтя, вынужден был сдаться и только выпрямился в кресле и сидел так до тех пор, пока пра-

щур не занял свое место. Отец, конечно, хотел предложить пращуру почетное место на диване, но тот отказался и сел на самый неудобный стул у стола. Солома, из которой был сплетен этот стул, во многих местах порвалась. Отцу же пришлось занять свое прежнее место на диване. Он, испытывая неловкость, не отваживался откинуться на спинку и остался напряженно сидеть на краешке дивана. Все это время я, как приличествует хозяину, продолжал стоять. Стоял и мой брат, прислонившись к стене возле дивана.

Некоторое время все молчали. Толстяк снова откинулся на спинку кресла и сидел, время от времени громко сопя. Я подумал, что они ждут от меня первого слова. Но как мог я осмелиться заговорить? Пращур вообще не бывал здесь раньше, но что-то же побудило его прийти. Однако сам я уже видел его, хотя и издалека, и знал, что он существует и принял решение относительно меня.

В конце концов первым взял слово отец:

– Мы все пришли сюда, чтобы попросить тебя дать ему разрешение пойти к матери, – тихо и почтительно сказал он, обращаясь к пращуру.

До того момента я вообще не думал о матери и не мог даже предположить, что речь пойдет о ней. Но едва только мой отец высказался, как мне показалось, что я думал именно об этом.

На лице пращура не дрогнул ни один мускул. Было непонятно, услышал ли он обращенную к нему просьбу. Лицо пращура казалось высеченным из камня. Вперед резко выступали лоб и скулы. Виски были втянуты, как и впалые от непрестанных забот щеки. Рот выглядел как узкая полоска, губы были плотно сжаты; эти уста надежно охраняли от пустословия.

Толстяк беспокойно провел рукой по редким волосам и откашлялся. Заговорил, однако, не он, а учитель; он обратился к пращуру неожиданно резким тоном:

– Я готов выступить в роли защитника. Я уже давно хотел этого, но всегда отчетливо понимал, что тогда было рано. Ладно, не мне об этом судить. Но теперь настало время освободить ее из темницы смертоносного имени. Приговор когда-то был вполне оправданным, и никто не смеет в этом усомниться. Ее проступок вызвал такое отвращение и навлек на всех такую опасность, каковой подвергся бы весь мир, если бы этой женщине было позволено остаться на свободе. Но это и повод к осознанию того, что был необходим строгий закон, чтобы отыскать для нее новый путь и предотвратить рецидив. В то же время не было никакой уверенности в силе суда и в его успехе. В противном случае приговор был бы не столь суровым. Этот приговор, однако, был односторонним, как и все приговоры. Путь, указанный им, пройден, и результат побуждает к более мягкому отношению к ее деянию.

Толстяк задумчиво склонил голову, а отец успокоительно зашептал: «Нет! Нет!»

Раздраженный этим вмешательством, мой учитель, однако, продолжил:

– Но если отвлечься от этого, то ни у кого из нас больше нет права выносить прежний приговор в том виде, в котором он был озвучен. Эту женщину исключили из жизни, участие в которой она желала обеспечить своими средствами и на свой манер. Надо не становиться виновными, как эта женщина, но надо владеть своей судьбой. Надо признать эту попытку, но она оказалась неудачной, и теперь мы знаем, что по-другому не могло быть, ибо, по существу, она была половинчатой. Вместо того чтобы овладеть судьбой, ее просто боязливо вытеснили. Человек стал пленником страха, а не судьбы. Не нашедшее употребления росло за оградой закона, за которой люди влачили недостойное существование, лишены тепла и красоты. Пустота, однако, напускается на сущее, и призрачный мир оказывается на грани крушения.

Толстяк удовлетворенно кивнул, а мой отец повторил слова: «...лишенные тепла и красоты».

Учитель закончил словами:

– Сыновья должны снова рождаться от матерей, а не от рабынь. Мы, виновные в неудачной попытке, не имеем права прощать эту женщину, ибо и сами мы нуждаемся в прощении.

Наш долг – отменить приговор, вынесенный в других условиях и на основании других посылок. Так не будем же и впредь уклоняться от судьбы.

Пращур продолжал сидеть неподвижно, как изваяние. Только легкое подергивание мускулов шеи выдавало в нем жизнь и участие. Казалось, что слова рвутся из него, но он не желает отпускать их на волю. Глаз пращура не было видно – они сидели глубоко в глазницах и были прикрыты густыми кустистыми бровями. Он казался оцепеневшим. Казалось, что он напряженно вчитывается в невидимые для нас письма.

Теперь и другие заговорили о моей матери. Толстяк, например, говорил о ней долго и горячо, сопровождая свои слова энергичными жестами, словно хотел развеять высказанные им мысли. Он дружелюбно, в своей обычной манере, смеялся, но я был уверен, что, в сущности, он был сильно растроган и едва сдерживал слезы. Веселостью он словно куполом прикрывал свою великую обеспокоенность, и именно поэтому рядом с ним было так хорошо и спокойно; его речь воспринималась как прекрасная величественная музыка. Под звуки его голоса просветлело каменное лицо пращура, а складки стали мягче, как горные долины в свете лучей весеннего солнца. Но, возможно, я просто выдаю желаемое за действительное.

– Слишком много разговоров и умствования, – продолжал толстяк. – Хватит уже споров с самими собой и с миром. Было бы прекрасно когда-нибудь и успокоиться.

Он подавился слюной и закашлялся. Вся его голова, а не только лицо, побагровела от напряжения. Или он специально разыграл кашель? Я не осмелился постучать его по спине.

Все ждали, когда пройдет приступ кашля, но он кашлял до полного изнеможения, жестами прося у всех извинения. Он перестал кашлять, только окончательно выбившись из сил. Потом я услышал, как мой отец робко и просительно произнес:

– Эта бедняжка вовсе не плоха. Она очень, очень обрадуется.

Теперь пращур повернулся ко мне лицом. Однако мне невозможно и непозволительно говорить об этом. Я видел, как мой брат от охватившего его возбуждения переступил с ноги на ногу. При этом он то ли головой, то ли плечом задел небольшую картину, висевшую на стене. Картина закачалась и, как мне показалось, бесконечно долго колебалась из стороны в сторону. Слышалось шуршание шнура о гвоздь, на котором она висела. Я не могу сказать, как долго это продолжалось. В тот момент я был лишь прозрачной мыслью великана.

«Почему он дрожит?» – вопрошали глаза, взгляд которых испытующе ощупывал меня. Я же по-прежнему не понимал, чего от меня хотят.

– Это не страх, – ответил стоявший рядом со мной учитель, и я снова обрел почву под ногами. – Это колыхание листьев на вечернем ветерке. Это неопределенность, в которой пребывает существо, не знающее своей матери.

Я испуганно взглянул на своего младшего брата, ибо опасался, что эти слова могут оскорбить его. Однако он лишь дружелюбно мне улыбнулся.

– Какой страх? – снова заговорил толстяк. – Это радостная робость.

– И любовь, – тихо добавил отец.

– И забота тоже? – спросил пращур. – Из этого проистечет великая забота. Но тогда нас здесь уже не будет.

– Мы свято хранили и храним нашу заботу в своих душах, ибо люди не желали ее и признавали лишь низменные нужды, каковые искажают и уродуют все истинное, – ответил ему учитель. – Вернем им заботу и тем исполним свой долг.

– Так и есть, – добавил толстяк и заплакал, на этот раз даже не пытаясь скрыть слезы.

– Да будет так, – заключил мой отец.

Пращур еще некоторое время сидел, полностью погрузившись в себя. Затем положил свои костлявые руки ладонями вверх на стол и, внимательно их рассматривая, заговорил: «Хорошо! Отведите его к ней, чтобы он перестал блуждать во тьме».

Он сказал это, обращаясь к моему брату. С этими словами пращур встал, а вслед за ним поднялись и все остальные. Я забыл, сказали ли они мне что-нибудь на прощание; я был слишком сильно растроган. Но нет, я помню, что отец некоторое время стоял передо мной, и мы даже хотели обняться, но не стали: это было у нас не в обычае.

Потом я пустился в путь вместе с моим братом.

Возможно, тот, кто это слушает, уже заскучал и думает: почему он не рассказывает о том доме и женщине, с которой он остался наедине? Ибо это куда важнее. Не хочет ли он от нас что-то утаить?

Я, однако, не знаю, что важнее. Этих мужчин уже нет рядом со мной, и некому направлять и охранять мою жизнь. Не думаю, что они махнули на меня рукой: это не в их правилах. Они снова придут, когда в этом появится необходимость. Но не я буду предметом их заботы и внимания. Тот, кто их ищет, тот их не находит. Того, кто кричит им вслед или жалобно взывает к ним всем или к кому-то из них: «Почему вы меня оставили?» – они не услышат. Грубый окрик вернется к кричащему и раздавит его самого. Можно искать мать и в любой момент ее найти. С теми мужчинами все обстоит по-другому. Надо лишь надеяться, что они будут сами тебя искать.

Именно поэтому вынужден я так много о них говорить – чтобы объяснить, как так вышло, что я в конце концов пришел к своей матери. Одно немыслимо без другого, также и та женщина, о которой я, вероятно, говорю слишком мало определенного и точного. Пусть даже ее плохо видно, к ней надо прислушиваться тем слухом, который настроен на звучание слов. Возможно, в промежутках, когда я умолкаю, лучше всего слышны слова, прячущиеся в моем дыхании.

Понятно, что было бы очень красиво, если бы я смог рассказать: мы вместе прошли по столовой мимо убранного стола. Она переставила на нем вазу, и мы перешли в комнату с книгами и роялем. Там мы некоторое время посидели, устало обсудив ужин, и она полностью отбросила роль хозяйки дома. Однако все это я придумал себе потом.

Ну, несомненно только одно – отношения с этой женщиной у меня стали более доверительными, чем я задумывал. Но как это получилось, совершенно стерлось из моей памяти. То, что было раньше, было уже абсолютно не важно.

Я отчетливо помню, что находился в ее комнате. Это была та самая комната, в которой стояло зеркало, где я не увидел своего отражения, и ее кровать, лежа в которой я видел сон. Но теперь стояла ночь, и окна были задернуты тяжелыми занавесками. Когда я это рассказываю, я почти физически ощущаю, что она – это та женщина, которой я все это сообщаю. Горела единственная свеча в белом подсвечнике, стоявшем перед зеркалом. Свеча отбрасывала теплый свет на руки и лицо женщины. Остальная часть комнаты была погружена в мягкий сумрак. Я, невидимый, стоял за спиной женщины, а сама она сидела на низком пуфике перед зеркалом.

Не возьму на себя смелость утверждать, что мы полюбили друг друга. Скорее могу предположить, что мы пустились в этот путь с совсем иными целями. Мы легко могли бы, не заметив, разминуться, но случайно увидели друг друга, и каждый решил: это именно тот человек, которого я искал.

Я говорил ей то, что не раз слышал раньше: «Из этого проистечет великая печаль». В тот момент уста мои были запечатаны для добрых слов. Если бы я на самом деле хотел избежать печали, то тотчас бы ушел, не сказав ни слова. Но как бы то ни было, я хотел снять с себя ответственность, и это было малодушие.

Она, с сомнением во взгляде, высматривала мое изображение в зеркале. Я не отважился выйти из темноты, боясь, что она заметит отсутствие моего отражения. Из-за того что я стоял в темноте, в ее глазах тоже царила почти непроницаемая тьма. Но она точно и верно угадывала направление звука моего голоса и смотрела туда. То ли ее взгляд медленно приближался, то ли я сам входил в поле его видимости, ибо испытывал жгучее любопытство: чье изображение было

в зеркале, мое или кого-то другого? И тут со мной произошло страшное, и я мог лишь беспомощно взирать на это. В наказание за мою нерешительность стал я свидетелем моей судьбы.

Я видел, как бреду сквозь капли тягучего тумана. Я бежал от неотвратимого, сам не зная куда. Я все время менял направление, петлял кругами. Тот, кого я видел, был совсем не тот человек, хвастливо говоривший о себе, о том, к какому выводу относительно него якобы пришло высокое собрание в его комнате. Видимо, пращур еще тогда все распознал, ведь недаром он спросил: «Почему он дрожит?»

Теперь и я видел, как сильно я дрожал. Меня неистово трясло, и вместе со мной содрогались окружающий меня туман и земля, на которой я, как мне казалось, стоял. Это было отвратительное зрелище. Нигде не было того, на что можно было бы опереться. Ни дерева, ни стены. Все, что было мне известно и знакомо, растворилось в небытии. Мир превратился в вязкое, глинистое море. Временами я видел только свою голову – когда проваливался во впадину волны, а иногда только ноги – когда взбирался на холм и все мое туловище исчезало в густом тумане. Я слышал собственное пыхтение от непомерной натуги, и каждый раз, когда я вытаскивал ногу из месива глины, раздавался чавкающий звук.

Я часто останавливался и прислушивался. Я отчетливо улавливал свои мысли. Если бы я раньше обращал внимание на мелкие робкие нежности, вместо того чтобы грубо их отталкивать. Например, когда двое сидят напротив друг друга за столом, как это долгие годы происходило ежедневно. Человек подносит ко рту ложку за ложкой, но не думает о еде. Он думает о борьбе, происходящей за его спиной, и, жуя и глотая, человек продолжает яростно вести начатую с утра борьбу. Внезапно он чувствует ласковое прикосновение к руке. Человек выглядит удивленным и испуганным, словно ощутил кожей врага, но, повернув голову, он видит улыбку, и прикосновение длится еще миг, пока он раздраженно не отталкивает руку. Так и продолжается до тех пор, пока в один прекрасный день человек вдруг обнаруживает, что остался в стороне. Когда липы покрываются молодой листвой, он видит это и испытывает томительную тягу влиться в это возрождение жизни. Но первого, самого главного слова он уже не находит. Человек печалится, грустят и липы, но человек все равно остается в стороне.

Там, вовне, когда-то была война. Народы, обезумев, старались уничтожить друг друга. С тех пор утекло много воды. Едва ли и мертвые ее помнят. Они говорят себе: это к лучшему, что мы забыли войну, и мы окончательно ее забудем, ведь иначе кто-нибудь захочет снова попытаться счастья, и он станет утверждать, что надо отомстить за нас. Но это всего лишь пустая отговорка, потому что на самом деле он просто недоволен собой; ибо нам нужна не месть, нам нужен мир. А тогда... тогда на дом обрушилось стихийное бедствие. Звенели оконные стекла, трескались потолки, дрожащие стены угрожали рухнуть в любую минуту, чтобы погрести под собой все живое. Я, однако, кричал: «Так и надо! Так и надо!» – и надувался от собственного твердолобого упрямства. Тогда кто-то рядом со мной тихо произнес: «Ты делаешь мне очень больно». И пол закачался у меня под ногами.

Ну что говорить, теперь уже слишком поздно. Нет больше луны, чья лживая доброта побуждает нас к противостоянию. Но нет у нас теперь и безлунного жилья. Бедствие опередило нас и непроницаемой пеленой скрыло от наших глаз всякое истинное убежище. Мы напрасно ковыряемся в помойном ведре.

Но есть в этом и доля моей вины. Почему не сказали мне об этом мужи, обсуждавшие меня в моей комнате? Или они хотели, чтобы я сам до этого додумался?

Я в конечном счете увидел, что стою на краю пропасти. Там произошел обвал и образовался кратер, глубокий, с гладкими стенками. Внизу скопилась вода и возникло маленькое озерцо, молочно-мутное, как бельмо. Я не знал, что мне делать дальше, и беспомощно смотрел в эту глубину. На краю озерца я разглядел сидевшую на корточках крошечную человеческую фигурку. От радости я потерял всякую осторожность и забыл, где стою; я подался вперед или сделал опрометчивый шаг – но как бы то ни было, земля ушла у меня из-под ног, и я устре-

мился вниз. Безостановочно, все быстрее и быстрее скользил я под гору. Это было поистине смехотворное зрелище, как я извивался и пытался уцепиться на склон. Кто-то и в самом деле смеялся. Сначала смех доносился откуда-то издалека и звучал как нечто странное и чужеродное, но потом он стал приближаться и становился все громче. Самое ужасное, что он становился все более и более знакомым. Он был похож на дружескую, беззлобную насмешку.

– Добро пожаловать, мой дорогой. Я жду тебя уже целую вечность, – приветствовал меня чей-то голос, когда я пришел в чувство. Это был мой друг.

Боже, но как он выглядел! В отличие от меня этот человек, как правило, очень следил за своей одеждой. «Человек делает свою жизнь излишне трудной, если отличается от других своей небрежностью, – не раз наставлял он меня. – Мы и так оказываем толпе ничтожеств высочайшую честь, позволяя этому сброду лицезреть себя, чем и отделяем себя от них». Сейчас мой друг был с ног до головы вымазан глиной. Левая штанина была разодрана до колена, из-под нее виднелась белая кожа голени. Обут он был только в один ботинок. Никаких сомнений; он скатился в этот кратер точно так же, как и я. Сейчас было бы самое время посмеяться над ним. Кажется, он и сам этого ожидал. Но, к его досаде, я не стал этого делать. На самом деле я был слишком сильно удивлен, чтобы насмешничать. Я-то рассчитывал, что уже никогда не увижу его, после того как он покинул меня в тот вечер на террасе.

– Разве я не говорил тебе прежде, что я останусь? – мрачно спросил он. – В любом случае, как ты сам видишь, я не поддался искушению и не стал птицей.

Я напрочь отказывался его понимать. Он, однако, истолковал мой вопросительный взгляд по-другому.

– Или ты видишь у меня перья, клюв и когти? – недоверчиво поинтересовался он. – Что ты так на меня уставился, а? Или ты воображаешь, что лучше выглядишь? Или ты, мой дорогой, недоволен тем, что снова меня встретил?

На самом-то деле мы с ним почти не отличались друг от друга. Нас можно было поменять местами: никто бы и не заметил разницы. Но испугало меня не это.

– Что-то случилось? – спросил я.

Теперь уже удивился он, и это удивление явственно промелькнуло в его взгляде.

– Ты хочешь, чтобы я был лучше, чем есть на самом деле? – спросил он. Однако, поскольку я отрицательно покачал головой, он понял, что это не в моих правилах, и поспешил добавить:

– Так, и где же был ты?

– В тумане.

– Я имею в виду до того.

– До того? – Оказалось, что я на самом деле не мог уже представить себе то время, когда я не бродил в тумане. Не думал я ни о той женщине, ни о террасе. Кажется, мой друг тоже об этом не думал, иначе он не преминул бы насмешливо мне об этом напомнить.

– Ты серьезно спрашиваешь, не случилось ли чего? – испытующе и все еще недоверчиво спросил он. – Святая простота! Большого, мой дорогой, чем случилось, произойти просто не могло. Если бы я не видел этого собственными глазами, то счел бы это невозможным. Или, – он и теперь не упустил возможности задеть меня, – или счел бы это одной из твоих фантазий. Да, мы заслуженно пережили это. И как быть? Мы сидим с тобой в этой грязной дыре, словно это самое естественное в мире положение, а ты спрашиваешь, не случилось ли чего? – снова закрутил он свою шарманку. – Ты вообще понимаешь, что мы с тобой – единственное, что от всего этого осталось?

– Как так, единственное?

– Людей больше нет.

– Больше нет?

– Об этом не стоило бы сожалеть. Но, как ни удивительно, это остается правдой.

– И что же со всеми ними произошло?

– Они превратились в птиц.

– Все?

– Вероятно, да, все. Кто знает, может, на другом краю земли кое-кто и остался, но нам не стоит на это рассчитывать. Мы еще можем называть это землей, как ты думаешь? – воскликнул он и ударил кулаком по земле, которая мягко, как тесто, подалась вниз от удара. – А небо? Где оно? Не перемешалось ли все на свете? Я бы многое отдал, чтобы здесь оказался один из этих занудных ученых, чтобы послушать его объяснения. Не то чтобы нам это сильно помогло, но, во всяком случае, это было бы остроумно и забавно. Впрочем, мое глубочайшее почтение, что ты так доблестно себя повел. Я-то думал, что ты сдашься одним из первых и сам превратишься в птицу. Возможно, что я тогда последовал бы за тобой просто из давней привязанности и природного любопытства. Мне же было бы чертовски тяжело оттолкнуться от земли и полететь. Как бы ни был силен во мне стадный инстинкт. Я бы бросился брюхом на землю и вцепился бы ногтями в грязь. Как быстро, однако, теряются всякие представления о приличии! – горько добавил он. – Они даже расшвыривают по земле свой белый помет, как будто их с детства не научили другому. Бесстыдство!

– Они на самом деле превратились в птиц? – спросил я еще раз.

– Ты думаешь, у меня есть желание рассказывать сказки?

– Все?

– Да, все. Ты что, кого-то встретил?

– Нет.

– Ну, ничего, может быть, к нам сюда скатится еще один добрый друг.

Мы одновременно посмотрели вверх, но ничего не увидели. Я попросил его рассказать, когда это могло бы произойти.

– Вскоре после того, как мы с тобой расстались. Вчера, сегодня, завтра – кто может точно знать в этом скучном одиночестве? Я ушел в пригород. Почему бы мне было не прогуляться по пригороду для улучшения пищеварения? Мы достаточно плотно поели. Лично я не вижу в этом ничего особенного. Я дошел до устья реки, туда, где начинается море. Едва я там оказался, как все и началось. Это был какой-то бесконечный, нескончаемый шум крыльев. Сначала я подумал, что выпил слишком много вина и был просто пьян. Но ничего подобного. Я был трезвее трезвого. Только треск крыльев мог ввести меня в подобное заблуждение. Этот шум возник где-то у меня за спиной и очень скоро был у меня над головой. Как я уже говорил, это подвергло большому испытанию мой рассудок. Никогда бы не подумал, что на свете так много людей. Там были и дети. Некоторым крылья оказались слишком тяжелы. Они снижались и садились на берег, отчаянно хлопая крыльями. Другие птицы вылетали из стаи и принимались подгонять отставших. Под конец их остались считанные единицы. Они медленно кружили над устьем. Потом и они исчезли за морским горизонтом, и я остался один. К счастью, они меня не заметили. Я встал и направился назад, в город. Мне было интересно, что с ним случилось. Я бы не дал за него ни гроша. Вероятно, он просто растворился и растаял, как и все остальное. При этом я вдруг оказался в тумане и грохнулся в эту дыру, точно так же, как и ты. Странно, что в этом тумане мы не столкнулись друг с другом лбами. Да, мы могли бы. Наверное, тебе больше бы понравилось, если бы и я пропал с ними со всеми? Но тут уж ничего не поделаешь. Я все еще здесь.

Он попытался торжествующе на меня посмотреть, но у него это плохо получилось. Выражение его глаз было скорее просительное, нежели торжествующее. «И как ты мыслишь себе наше будущее?» Он даже ткнул меня локтем в бок, потому что я молча сидел рядом с ним и обдумывал его рассказ.

– Нам надо подождать, – ответил я.

– Подождать? – возмущенно воскликнул он. – И на что же ты надеешься? Ты что, всерьез полагаешь, что придет кто-то и вытащит нас из этой ямы? Какие же вы все терпеливые ягнята!

– Ну, найдется же способ вылезти отсюда, – мне хотелось его успокоить.

– Найдется способ вылезти отсюда, – насмешливо передразнил он меня. – Неужели ты так плохо меня знаешь, что вообразил, будто я предался хандре и не попытался этого сделать? Попробуй сам взобраться на эти стены. На два шага не продвинешься, такие они скользкие. Да хотя бы у нас и получилось выбраться, что из этого? Что мы будем там, в этом тумане, делать? Ты надеешься найти там что-нибудь съестное? Я нет. Или давай уж лучше сразу решим, кого осмелится сожрать. Мы оба читали об этом в детских книжках. И потом, я тебя умоляю, мой дорогой, ведь остается самый главный вопрос: зачем все это?

– Зачем, а? – закричал он, вперив в меня яростный взгляд. Он осекся на полуслове. Похоже, ему самому стало стыдно. – Видишь ли, я сильно замерз и хриплю, как одна из этих птиц. В любом случае, – продолжил он уже более спокойным тоном, – это страшно скучно, и об этом-то мы и не подумали. Но больше всего меня удивляет то, что ты, кажется, не видишь ничего особенного в том положении, в каком мы с тобой оказались.

– Но мы и раньше частенько пребывали в одиночестве, – возразил я.

– Но тогда это случалось по нашей воле. Когда же нам становилось очень плохо, мы могли в любой момент выйти из затворничества и повеселиться, глядя на людей. Они, правду сказать, очень хорошо для этого подходят. Теперь же придется любоваться только на собственные рожи, тьфу, черт! – он на самом деле с отвращением сплюнул.

– Если бы еще ты был женщиной, – произнес он совершенно другим тоном. Мне стало от души его жалко, но я ничего не сказал, иначе он бы непременно это заметил.

– Прежде, ты знаешь, – продолжил он с моего молчаливого одобрения, – я ни о чем так мало не помышлял, как о свадьбе, а мысль о детях была мне просто противна. Не то чтобы теперь мои вкусы в этом отношении сильно изменились, но рассудок диктует нам создавать больше жизни в нашем окружении. Впрочем, кто знает, насколько мы еще способны к зачатию. Возможно, что у нас отнят и этот добрый дар. Наверное, стоило бы попытаться. Но для этого нужна женщина. Если бы только у одной из них хватило разума не становиться птицей. Меня это вообще удивляет: в общем, женщины под прикрытием своих бессмысленных поступков очень здраво продумывают действия, чтобы получить выгоду. Или тебе во время блужданий в тумане встретилась одна такая и поэтому ты не заметил всех этих вещей, потому что как раз в это время получал с ней удовольствие? На тебя это похоже.

– Однако, что еще хуже, – продолжил он свою речь, – это то, что у нас, кажется, отняли и свободу определить свой собственный конец. Как же нам покончить с собой? Оружия у нас нет. Эта лужа слишком мелка, чтобы в ней утопиться. Стенки ямы слишком мягки, нам не удастся разбить об нее головы. Некуда даже вбить гвоздь, чтобы на нем повеситься. Короче, мы попали в западню.

– Хорошо, – набравшись духу, заговорил я, – давай для начала осмотримся и поищем женщину.

– И куда ты ее приведешь? – живо перебил он меня. – Об этом ты тоже подумал?

Я не очень хорошо понял, что он имел в виду. Снизив голос до шепота, он рассказал, что еще до того, как его полностью поглотил туман, он увидел на противоположном берегу реки целую толпу каких-то фигур. Среди них были и женщины. Кажется, они, так же как он, с большим изумлением наблюдали за бегством людей в образы птиц. Решив во что бы то ни стало поговорить с ними об этом, мой друг бросился искать мост. Там должна была быть одна женщина.

– Один бог знает, как она туда попала. Раньше ее здесь не было, но и там ее быть не могло. Я осторожно направился к ней. Да, она была там, и это на самом деле был мост. Но, когда я добрался до середины, эти идиоты меня заметили и с гвалтом бросились бежать в луга.

– Почему же ты не побежал за ними? – спросил я.

– Я скажу тебе, мой дорогой. Мне вдруг почудилось, что с этим мостом что-то не так. Так и оказалось. Можешь мне не верить, но у моста не было второй половины, и я едва не свалился в реку. Почему его недостроили? Да и потом, каким образом одна половина висела в воздухе? Но как бы то ни было, я как можно скорее повернул назад.

– А они с криками убегали от тебя? – спросил я.

– Да, они, очевидно, боялись меня, – с этими словами он наклонился и посмотрел мне прямо в глаза.

– Что ты из этого заключил? – спросил он.

– То были мертвецы, – ответил я.

Он удовлетворенно вздохнул:

– Да, и я того же мнения. Но чего они испугались, эти глупые создания? Обыкновенно, наоборот, живые боятся мертвых. Но эти как будто вопили: «На помощь! Сюда идет живой!» И почему их никто не охранял? Нам же всегда рассказывали, что должен быть кусачий пес и перевозчик. Нам всегда лгали. Даже когда в этом не было никакой необходимости. Но все равно мы не смогли бы заполучить одну из этих женщин. И если это действительно были мертвецы, то что мне толку от нее? – Он снова сплюнул. Куда только делись его хорошие манеры!

Я встал. Он тотчас тоже вскочил на ноги.

– Куда ты собрался? – заорал он. Я не утверждаю, что он в меня вцепился, но был очень близок к этому.

– Сиди здесь и следи за мной, – успокоил я его. – Я немного пройду. Вон та стена кажется мне более крутой и сухой. Может быть, из той глины нам удастся слепить женщину.

– Для меня?

– Да, для тебя, – с этими словами я пошел вокруг лужи, обошел ее и пощупал противоположную стенку, чтобы убедиться, что ту глину можно месить. Дело пошло, и я тотчас принялся за работу. Мне хотелось вылепить из стены женщину. Задача настолько сильно меня захватила, что я бы начисто забыл о своем друге, если бы он не дал о себе знать окликом. «Ну, как дела? – крикнул он у меня за спиной. – Получается?» Но я не ответил. Я вспотел от напряжения. Мне хотелось сделать все как можно лучше.

Собственно, мой друг говорил все время. Едва он увидел первые очертания женщины на стене, как тут же полилась критика.

– Не делай ее слишком большой, – поучал он меня. – Она же нас побьет. Ноги не должны быть слишком короткими, я этого не терплю. Она будет блондинкой или брюнеткой? Это неважно, но пусть она будет молодой и красивой, уж коль ты за это взялся. Что мы будем делать с уродиной? Их и так полно. Да, и груди должны стоять торчком, – он говорил и говорил, но я не обращал на него никакого внимания и делал, что мог.

Потом он снизошел до слов признания.

– Черт, а ты кое-что смыслишь в этом деле. Получается вещь. Она чертовски хорошо выглядит. У тебя в голове образец? Ну ладно, я не хочу этого знать.

Но он и этим не смог сбить меня с толку. Я неумоимо лепил женщину.

Потом он незаметно подошел и встал рядом. Я так испугался, что едва не испортил работу. В голосе его зазвучали злые нотки.

– Скажи-ка, мой дорогой, для кого ты ее делаешь?

– Для тебя, – ответил я.

– Вот как, для меня? Какое бескорыстие! – издевательски протянул он. – И что ты будешь делать дальше? Уж не замыслил ли ты сделать для себя кое-что получше? Уж не хочешь ли ты мне сказать, что оставишь мне эту женщину, а сам останешься ни с чем?

Я счел за лучшее не перебивать его и дать ему высказаться.

– Я наблюдал за тобой, мой дорогой, – продолжил он в том же тоне. – Как ты ее трогал! Ты в это время думал обо мне? Ты думаешь, это существо когда-нибудь забудет, как ты лепил ее груди и бедра? Ах вы, шельмы! Вы иногда не в состоянии сложить два и два, но в этих делах у вас все отлично получается. Эта птичка прилетит к тебе только так. Ты же отлично знаешь, что она побежит за тобой, как верная собачонка. Эти твари не уходят от того, кто их сотворил.

– Это неправда! – возмущенно крикнул я в ответ. – Наоборот, они ненавидят своего творца, потому что он не сотворил их совершенными и знает их изъяны.

– Это приятно звучит: я делаю это для тебя, – он продолжал гнуть свое. – Спасибо! Спасибо! Не очень-то приятно быть зависимым от тебя в этом отношении. – С этими словами он отвернулся и зашагал на прежнее место, по ту сторону лужи. В самом деле, он вел себя как упрямый ребенок.

Все было готово. Это означало, что женщину надо отделить от стены, с которой она была соединена спиной. Но это было уже легко. Однако, прежде чем заняться этим, я решил еще раз посмотреть на свое творение издали. Я подошел к другу и встал у него за спиной.

– Будь же благограумен, – сказал я ему, – она же не живая.

Это немного смягчило его раздражение.

– Да, это смехотворно, ругаться из-за куска глины, – согласился он. – Ты не думаешь, что она оживет?

– Нет ничего невозможного. Надо подождать. – Мы сели на свои прежние места и принялись смотреть на женщину. Друг беспрерывно что-то говорил. Я же был не в силах сказать ему, что ждть лучше молча. Он бы снова предположил, что я хочу выставить его в дурном свете.

Сначала он заново принялся хвалить женщину, хотя и весьма крепкими словами. Этим он хотел скрыть от меня, что уже успел в нее влюбиться. Потом он стал ломать себе голову над тем, во что мы сможем ее одеть. «Разве что в наши лохмотья?» Эта мысль вернула его к нашему внешнему виду. «Нарядить ее в шелка мы не сможем. Не удивлюсь, если она отошьет нас обоих. Наоборот, я проникнусь к ней высочайшим уважением! Что могут предложить ей два этих мерзких ничтожества?» В конце концов он предложил предоставить выбор ей самой, и если она нас отвергнет, то нам придется честно сдержать слово и никогда больше не показываться ей на глаза. «Отвергнутый может отправиться к мертвецам. Там, наверное, не так уж плохо, да и идти недалеко. Что касается меня, то ты же знаешь, что я имею обыкновение держать свое слово. Не из благородства – на нем далеко не уедешь, а на вполне разумных основаниях. После всего того, что произошло, нет никакого смысла ссориться еще из-за женщины. Э, что такое? Почему ты покраснел?»

Я не слушал его; все это время я молча наблюдал за фигурой. Услышал я только этот последний вопрос. Дело в том, что в продолжение его длинной речи мне начало казаться, что женщина оживает. Очень скоро я уже был уверен в том, что видел подергивания ее ног – словно она пыталась оторвать ступни от земли. Потом я заметил, как вздымаются ее груди и живот, – она начала дышать. Осталось только окликнуть ее по имени, и она шагнула бы к нам.

Но, самое главное, она порозовела. Я судорожно протер глаза и, чтобы не поддаться обману, вскинул голову к небу, чтобы посмотреть, не рассеялся ли туман и не засияло ли солнце. Но наверху по-прежнему было все то же бесцветное единообразное нечто.

Как раз в тот момент, когда я услышал вопрос: «Почему ты покраснел?», я понял, что розовый свет исходил от женщины. «Молчи и смотри!» – прошипел я своему другу.

Он посмотрел, но против всех моих ожиданий начал грубо хохотать. Это было подобно убийству. Розовый свет померк.

– Ты не сделал ей пупка! – закричал он и вскочил. Прежде чем я успел его задержать, он бросился к женщине.

– Откуда у нее может быть пупок, если она не рождена матерью? – крикнул я и побежал вслед за ним. Но он оказался проворнее, и я опоздал. Я не пробежал и половины пути, когда случилось страшное.

Он встал напротив женщины и указательным пальцем пробуравил ей в животе пупок.

– Убирайся! – заорал я, но он меня уже не услышал. Женщина сделала шаг ему навстречу. Все это выглядело так, будто он своим пальцем притянул ее к себе. Потом она очень медленно, в мягком изящном движении, склонилась над ним – сначала как будто нежно, а затем, словно падая в обморок. Последнее, что я увидел, – это как мой друг, защищаясь, выставил вперед руки. Но тело упало на него, потянув за собой всю стену, от которой оно не отделилось.

Так мой друг был погребен в глине.

Тогда я еще не видел, что обрушение стены открыло мне выход, который должен был вывести меня к людям, среди которых я теперь стою. Я не мог этого видеть, ибо взор мой был затуманен. Поэтому я не в силах и теперь связно рассказать о том, как это было. Наверное, это стыдно и лучше умолчать о том, что не раз заставляло меня краснеть, и слабость моя побуждала меня к ложному гневу.

Возможно, что я бросился к могиле друга и, роясь в мягкой земле, попытался его откопать, что слезы страха лились из моих прищуренных глаз. Что земля эта, стоя на которой прямо, я привык соразмерять свой рост, теперь неудержимо проседала подо мной. Да, я рухнул во временной провал. Время перестало существовать. Выглядело это так, словно ниточки, двигавшие марионетку, порвались. Вокруг было только ничто, не было прочной опоры, за которую я мог бы ухватиться. Я искал что-нибудь знакомое, к чему мог бы приобщиться, но при этом не надеялся его найти. В мгновение ока я окончательно освободился от моего прошлого, вынырнул из него. Дома, города, страны, в которых я некогда проживал, превратились в ничто в вихре моего падения. Земля стала всего лишь туманным пятном, в сумраке которого я брел неизвестно куда. Я быстро погружался все глубже и глубже. Мимо стремительно, как обрывки облаков, проносились тысячелетия. Все быстрее и быстрее. Да, мне хотелось кричать. Крик переполнял меня, грозя разорвать на части. Но для того чтобы кричать, мне не хватало воздуха. Меня бы разорвало от боли, если бы не милостивое беспмятство, освободившее меня от нее. Я смог лишь сказать: «Я пропал».

Но может быть и такое, что все это я сказал той женщине, в комнате которой находился, женщине, которая смотрела на меня в зеркало и в чьем отражении глаз я все это пережил. Я был, почти против своей воли, вынужден говорить старомодным стилем, таким, каким в старину имели обыкновение изъясняться рассказчики историй. «Он опустил перед ней на колени и спрятал лицо в ее лоне. Но она...», она же, известное дело, повела себя так, как ведут себя все женщины, когда сталкиваются с подобным. Такие предложения приводят в восторг молодых людей, ибо они воображают, что жизнь должна быть именно такой, и надеются, что в один прекрасный день поведут себя именно так.

Понятно, что на колени я не становился. Но тем не менее происходило нечто подобное, о чем высоким стилем хотят поведать рассказчики этих историй. Говорите что хотите, но возможно, что в минуты потрясения человек ведет себя не так, как это принято в его время.

На этом месте мне, вероятно, стоит сделать паузу, чтобы собраться с мыслями, и это потребует пары минут молчания. Друг – разумеется, я имею в виду того друга, который смотрел на туманность Ориона и сперва очень неохотно меня слушал, – ерзал бы на стуле и многозначительно откашливался.

– Это любовная история, – сказал бы он. Поскольку же, увлекшись моим рассказом, я совершенно забыл об этом друге, его неожиданная реплика из темноты застигла меня врасплох, и я не сразу нашелся с ответом. Поэтому ему пришлось еще раз повторить: – Это просто обычная любовная история. Впрочем, почему бы и нет?

– Почему любовная история? – естественно, осмелился бы я возразить. – Потому что в истории случайно оказалась замешанной женщина? Или почему-то еще?

– Потому что ты старательно избегаешь ее описания.

– Я не могу ее описать и достаточно часто объяснял почему.

– Именно что не можешь. Однако она здесь.

– Ты мог бы выразиться яснее.

– Тебе нет нужды чувствовать себя обиженным.

– Я не обижаюсь, просто я тебя не понимаю.

– На самом деле все очень просто, – друг сделал бы попытку объясниться. – Я тоже когда-то находил себе оправдание в изречении: я не переживаю ничего, кроме самого себя. Другими словами, все вещи и события сами по себе ничего для меня не значат, мне интересно лишь их влияние на меня. Настанет день, когда людям будут внушать, что это в высшей степени неоправданный способ наблюдения и что другие вещи тоже живут собственной жизнью, которая просто ускользает от нашего восприятия. Следствием станет великое потрясение. Человека вытеснят с привычного ему, хотя и воображаемого, центрального места. Тогда уже никто не посмеет сказать: это так-то и так-то. Выгоднее будет молчать. Останется только удивляться и смотреть. Созерцание же есть испытание терпения или, на мой взгляд, переживание, и ты это сам знаешь.

– Но почему все-таки любовная история? – удивленно переспросил я.

– А как еще мне ее назвать?

– В таком случае ты с равным успехом мог бы сказать – если бы я попытался описать тебе какой-нибудь пейзаж, – что я якобы говорю о женщине. В пейзаже есть холмы и долины, а леса, например, можно назвать волосами гор.

– Это зависит от повода, – снова заговорил бы мой друг. – Для меня, вопреки тому, что ты, вероятно, думаешь, пейзаж означал бы не Орион или какую-то туманность, а простую березку в поле. Как мне это объяснить? Существует такая точка, на которой, к счастью, заканчиваются все объяснения. У меня просто есть ощущение, что она смотрит на меня. Она о чем-то думает; возможно, даже поет. Но моего слуха недостает, чтобы ее услышать. Понятно, что я и сегодня говорю: это березка. Необходимо какое-то слово, как разменная монета. Но это уже не то, что было раньше. Вероятно, это можно было бы назвать моей любовной историей. Но у тебя поводом является женщина, а в таких случаях мы привыкли к этому обозначению.

Но меня не удовлетворили такие объяснения. Я бы возразил:

– Оглянись вокруг. Смотри, как разрушен мир и как жалко мы живем. И ты берешься утверждать, что я рассказываю какую-то любовную историю?

– Речь идет о потрясении, – ответил бы он на это. – То, что претерпевает одна вещь, претерпевают все. Волны продолжают накатываться и покатаются назад. Это известно нам из физики. Однако мне теперь думается, что не стоило тебя перебивать. Продолжай, пожалуйста. Расскажи, что произошло с твоей матерью; ибо теперь все уладилось. Когда ты пошел к ней?

– Я иду к ней сейчас.

– Как это сейчас? Мне кажется, что сейчас ты с той женщиной, не так ли?

– Да, это так.

– Ну и?

– Я, наверное, не понял твоего вопроса.

– Я спрашиваю: когда ты ходил к матери?

– Я хожу к ней время от времени.

– Послушай, я вижу, что ты не все смог мне сказать. Но в этом и нет необходимости. Однако ты не посмел мне рассказать, что в ситуации, в какой вы оба находитесь, ты смог еще и время от времени бегать к матери.

– Почему нет?

– Ты же не мог просто взять и сказать той женщине: подожди минутку, я скоро вернусь. Мне нужно кое-что выяснить с моей матерью.

– Почему нет?

– Потому что я очень сомневаюсь, что какая-нибудь женщина на это согласится.

– Эта, однако, говорит: иди уж.

– Ах, вот как?

– Да, потому что она сама решает.

– Ах, вот как?

– Да, и, может быть, без нее вообще ничего бы не получилось.

– Ах, вот как?

– И потом, может быть, это все же не любовная история.

Я не смог отказать себе в удовольствии возразить на эти три «Ах, вот как?». Наверное, березки он чувствовал острее и о звездном небе знал намного больше, чем было известно мне. Что же касается любовной истории, то о ней мне было бы лучше поговорить не с ним, а с женщиной, которую я упомянул в начале моего рассказа, с той, на край кровати которой я бы присел, чтобы все это рассказать. Признаюсь, что мне трудно удержать вместе все нити. Мне это не удастся никоим образом. Сижу ли я на краю кровати или сплю в ней – разница, в сущности, невелика, и ни для одной женщины я не был большей тайной, ибо с этой я был столь близок только единожды. Но разве не все равно, от какой женщины исходит улыбка, которая в первый раз отражается в моих словах?

Все эти вещи боятся цветистых слов – от них такие вещи рассыпаются. Их высшая и окончательная нагота оберегается нежным взглядом от вскрытия, как заключенная в раковину жемчужина. Вокруг же глухо колышется многоцветное море.

В какой-то момент, посреди этой вечности, я пошел к матери. Повел меня мой брат, как и было ему назначено. Мы были в пути долго, очень долго. Мы преодолели море. Мы шли в том направлении, которое раньше называли направлением на север. Но там не было так холодно, как об этом рассказывают. Однако по мере нашего продвижения вокруг нас становилось все тише и безлюднее.

Наконец мы причалили к берегу какой-то тихой бухты. Это было вечером; стояла совершенно безветренная погода, ни одного дуновения. «Здесь мы должны высадиться, – сказал мой брат, – это конечный пункт». Мы вышли на берег. Поселение состояло из восьми или десяти крепких бревенчатых хижин; крошечные оконца были забраны ставнями. Ставни были наглухо закрыты. Там никто не жил. Может быть, в прошлые десятилетия сюда приплывали рыбаки, или стремившиеся к познанию нового материка путешественники, или такие люди, как мой брат и я.

«Сегодня мы заночуем здесь», – сказал мой брат. Мы подошли к самой дальней хижине, брат извлек из-под каменного порога ключ и отпер дверь. «Завтра утром ты пойдешь дальше вон в том направлении. Теперь ты просто не сможешь заблудиться. Я же должен вернуться. Я могу сопровождать тебя только до этого места. Но сегодняшнюю ночь мы проведем под одной крышей».

Я хорошо понял, что он мне сказал. Я попытался посмотреть в том направлении, какое он мне указал, но ничего не увидел, потому что было уже очень темно. Вдали угадывалась цепь холмов. За ними слабо обозначалась полоска голубого света. Больше я не увидел ничего. В небе не было звезд. Я прислушался. Было так тихо, что шум крыльев пролетевшей совы воспринимался как оглушительный грохот. Слушать здесь, однако, было нечего.

– Почему не заходишь? – крикнул мне брат из хижины, и я последовал за ним. Между тем он уже зажег керосиновую лампу, висевшую в углу над столом. Потолок был очень низким – каждую минуту надо было быть начеку, чтобы не стукнуться головой о балку. К стенам были прибиты полки, а на них – аккуратно расставленные жестянки и бутылки. Естественно, была

там и печка. Мебели было немного: кроме стола и лавок вдоль стен было здесь еще два больших ящика и небольшой шкафчик. Обстановку дополняли две кровати, расположенные в два яруса, как это обычно принято в таких домах.

– Я сейчас попробую пожарить блины, – сказал мой брат. – Дорога была долгая, мы проголодались. – Он развел в печи огонь, нашел муку, горшок с яйцами и бутылку растительного масла. Потом брат ловко смешал все ингредиенты, что немало меня удивило.

– Ты, кажется, уже бывал здесь? – спросил я.

– Известно, бывал, – ответил он, замесил тесто и вылил часть на сковороду, которую снял со стены у печки. – В ящике стола возьми нож и вилку. Накрой стол, пока я буду жарить, – велел он мне. – На полке возьми две кружки. Вытри их носовым платком. Я заварю чай. Может быть, найдется немного рома. Бутылка стоит вон там. Дай-ка понюхать, может быть, там не ром, а керосин. Да, это ром. Он нам не повредит.

Он поставил сковородку с готовыми блинами на стол, заранее подстелив старую газету. «Чтобы не пачкать тарелки, будем есть прямо из сковородки, потом будет меньше уборки».

– Женщины здесь не появляются? – спросил я.

– Нет, думаю, что нет, – ответил он. – Мука со временем плесневеет, это не моя вина.

– На вкус превосходно, – похвалил я его стряпню, чем, кажется, его порадовал. Мы съели все. Между тем вода закипела; он заварил чай и разлил по жестяным кружкам, щедро плеснув туда рома. От этого питья мы окончательно согрелись, но говорили мы мало.

– Если захочешь покурить, то тут есть коробочка с табаком и трубка. Я пока постелю кровати, – сказал он. Он открыл один из ящиков и достал оттуда шерстяные одеяла. Пока он занимался постелями, я курил, расхаживая по комнате. На стенах висели пожелтевшие картинки из журналов. Парусник, женщина в платье с очень глубоким вырезом, пейзаж города с высокими домами и громадным висячим мостом. На одной фотографии были изображены двое детей, одетых в платья, из-под которых виднелись штанишки. Я внимательно осмотрелся, стараясь ничего не упустить.

– Ты надежно пришвартовал лодку? – спросил я.

– Ее никто не украдет, – ответил он на это. Не думаю, что он хотел надо мной посмеяться, но спрашивать дальше я ни о чем не стал, так как заметил, что он едва ли ответит мне на те вопросы, которые я, собственно, хотел ему задать.

– Ну, теперь здесь будет достаточно мягко, – сказал он наконец.

– Это твоя кровать, – добавил он и указал мне на нижнюю койку. Я хотел, однако, уступить ее ему, а сам думал лечь наверху. Некоторое время мы препирались по этому поводу. – Что ты разводишь церемонии? – спросил он. – Вспомни старую дурацкую поговорку: разве не принято уступать старшему брату мягкую постельку? – Я сдался. Я лег, а он, задув лампу, забрался наверх.

Но уснуть я не мог. Котелок на печке еще некоторое время гудел, потом гудение стихло. В печке треснуло полено. Потом наступила полная тишина. Я слышал, что брат на верхней койке не дышит. Мне показалось даже, что его там нет. Однако я промолчал.

Вдруг откуда-то из пустоты донесся громкий крик, издавек на него ответили таким же тоскливым криком.

Я подскочил на кровати и сел. «Что это?» – спросил я.

– Это птицы. Они кричат, чтобы не потеряться в темноте, – объяснил он.

От этих птичьих криков мне стало грустно.

– Здесь очень одиноко, – пожаловался я.

– Да, это правда.

– И очень голо. Я это сразу заметил.

– Здесь почти ничего не растет. Только мох. Иногда он цветет, и это по-настоящему красиво.

Через некоторое время он спросил: «Почему ты сидишь?»

Я собрался с духом и попросил: «Ты не хочешь в эту последнюю ночь поспать рядом со мной?»

– Если тебе так больше нравится, то я сейчас спущусь, – сказал он. Он спустился со своей койки и заполз ко мне под одеяло.

Койка была узкой, но так было лучше.

– Скажи мне, брат, – начал я после недолгого молчания, – почему они не послали и тебя к нашей матери? Если тебе неприятен этот вопрос, то забудь о нем, – поспешил добавить я, потому что он ответил не сразу.

– Нет, он не неприятен, – сказал он, – но мне надо подумать над ответом, чтобы не сморозить какую-нибудь глупость. Такое вполне может быть, ведь я слишком нетерпелив.

– Мой вопрос не причиняет тебе боль?

– Почему он должен причинить мне боль? Мне предназначено другое. И так как к ней идешь ты, то все в порядке. Достаточно и одного.

– Ты знаком с ней?

– Нет, я никогда ее не видел. Но тебе нечего бояться.

– Но ты знаешь о ней? – продолжал допытываться я.

– Я знаю, что она существует.

– Ты знаешь об этом от других?

– И от других тоже. Я всегда это знал, несмотря на то что не хотел считать это правдой.

– Но все же скажи мне.

Он опять на некоторое время замолчал. Потом заговорил:

– Если бы мы с тобой сейчас не лежали рядом, как двойняшки в материнской утробе, то я бы не стал об этом говорить. Я делаю это очень неохотно. Знаешь, брат, я видел, что женщины беременели и рожали детей. Но им не нравилось это. Все тяготы достаются нам, жалуются они, а когда роды остаются позади, они отряхиваются, чистят перышки и идут на танцы. Они также дают почувствовать детям, что это именно они их воспитывают. Они заходят так далеко, что даже требуют у детей благодарности за это – за то, что они их родили. Это сердило меня, и я стал злым насмешником. Мне было больно за детей, но мне все же следовало бы держать свой рот на замке. Естественно, они вышвыривали меня из дома, и это было их право. Я высмеивал их и жил для себя. Я плохо жил, мне все время приходилось затягивать пояс; я вращался в сомнительном обществе. Но я был упрям и ершист, и это не навредило мне. Потом наступали рождественские праздники. Ты когда-нибудь на своей шкуре испытывал, что для них означает Рождество? Я смеялся и над этим, ибо видел, что они сами себя обманывают. Они ходили друг к другу в гости, шли в церковь, праздновали и думали: «Теперь мы хорошие люди!» Но уже на следующий день ссоры начинались заново. Однако с моей стороны это несправедливо: смеяться над этим. Я слишком небрежно относился к их собственности. Рождество позволяло женщине, которая меня воспитала, говорить мне важные вещи: «Пойди сегодня в церковь, чтобы побыть с братьями и сестрами». «Хорошо, – думал я, – она хочет помириться, и тебе не позволено портить эту игру». И я шел в церковь. Сидел с ними на одной скамье. Видел, как они молитвенно складывали руки. Слышал голоса моих сестер и братьев, слышал, как радовались они песням, которые пели. Песни были хороши. Как у них принято, дерево горело божественным светом. Я думал: правда, как здорово они празднуют! Здесь ничего не скажешь. Мне и самому становилось весело на душе. Когда все заканчивалось, мы выходили из церкви на площадь и стояли там. С одной стороны – мои сестры и братья, а с другой – я. Дул холодный, пронизывающий восточный ветер. Рождество, как ты и сам должен знать, случается среди зимы. Потом женщина, которая меня воспитывала, говорила сестрам и братьям: дайте ему руку! Они пожимали мне руку и говорили: «До свидания!» Потом женщина тоже подавала мне руку и

при этом что-нибудь вкладывала в мою. Потом она шла с братьями и сестрами праздновать дальше, а я снова оставался один.

– Отца там не было? – перебил я его.

– Нет, – ответил он. – Отец никогда не ходил в церковь. «Это не мое», – обычно говорил он. Когда они возвращались домой, он спрашивал: «Ну, как там было?» – «Все было прекрасно», – рассказывали они. «И?» – недоуменно спрашивал он. – «Ничего», – отвечали они и пожимали плечами. А он молчал. Но он вообще был неразговорчив. Но почему ты меня перебиваешь? Я пошел к фонарю, чтобы посмотреть, что она сунула мне в руку. Это была купюра в пять марок. Я бросил ее на землю. Говорю тебе, брат, та зима была очень холодной, и земля сильно промерзла. Я взял слово «мать», тоже швырнул его на землю и растоптал, и этот звонкий треск до сих пор стоит у меня в ушах. Чувствуешь, как дрожат мои ноги? Нехорошо говорить об этом. Это до сих пор вызывает у меня гнев. Да, это так: я слишком молод, чтобы быть добродушным. Такие типы, правда, встречаются. Ну ладно, давай спать.

Я хотел его еще кое о чем спросить, но передумал, решив, что утром для этого будет время.

Когда я проснулся, мой брат уже был на ногах. Увидев, что я открыл глаза, он принялся меня поторапливать. Мне пришлось выпить чай, который он для меня заварил. Пока я пил, он убрал одеяла в ящик.

Потом мы вышли из хижины. Он запер дверь, а ключ положил под порог. Мне стало зябко. Рассвет только занимался. В кристально чистом утреннем воздухе были с необыкновенной четкостью видны прочные и строгие дома и холмы. На этом берегу был вечный рассвет, но тогда я еще этого не знал. Я взглянул в направлении предстоявшего мне пути и сразу увидел, что это именно мой путь. Я обернулся к брату.

Мы стояли лицом к лицу. У меня защемило сердце, оттого что я не спросил его о повязке, которую он носил на лбу. Мне захотелось сказать ему: «Ты провел меня сквозь дебри времен. Многие заботы, предназначенные мне, ты взял на себя. Я же, я, называющий тебя братом, не могу поручиться, узнаю ли я тебя, если ты встретишься мне сегодня или завтра. Может быть, ты изменишь лицо, чтобы сбить с толку людей, и я тоже буду обманут этой твоей маской. Не потому ли, из-за этой моей ненадежности, ты носишь на голове повязку?»

Также хотел я спросить еще кое о чем, но в последнюю ночь для этого не нашлось повода: «Скажи мне, брат, ты когда-нибудь любил женщину?»

Какие же мы юнцы! Мы пожали друг другу руки и расстались, не сказав на прощание ни одного слова. Он пошел по дороге между домами к темной бухте, я отправился своим путем. Через несколько шагов я оглянулся. Он шел один. Его никто не ждал, да он на это и не рассчитывал. Однако и он тоже обернулся, чтобы посмотреть на меня. И смотри-ка, мой брат снял с головы повязку. Лоб был белый и гладкий, без всякого намека на шрам. Я понял тогда, что он носил повязку в память о своих самых счастливых часах.

Потом он пропал из виду.

О своем пути я могу рассказать лишь очень немногое. Ибо те, кто мог бы меня услышать, сильно бы заскучали, вздумай я прибегнуть к высоким словам для описания невозможного. Или они бы качали головами и думали: «Не много ли здесь лишнего?»

Путь лежал передо мной, и я видел его до самого конца. Он вел вперед по полого поднимающейся вверх долине. Долина не была тесной, а холмы слева и справа не были крутыми и высокими, но лишь слегка волнистыми. Местность была голой, окрашенной в темно-зеленые и коричневые цвета. Местами лежал снег, но, вероятно, мне это кажется только теперь, потому что вначале я сильно мерз.

Позади долину запирала другая цепь холмов. Извилистый путь вел меня туда, где среди этих холмов обозначался узкий проход. За маленьким изгибом, образующим проход, мест-

ность была немного более пестрой, чем та, что окружала меня сначала. Но разница эта была едва заметна – так, немного больше синевы. И это все.

Этим сказано очень немногое. Но я неотступно вижу перед собой этот путь и этот голый ландшафт. Иногда его образ возникает во время разговоров, в лицах других людей или во взгляде женщины. Я не могу ничего с этим поделать, я должен совершить этот путь.

Это трудно высказать. Только так: видеть перед собой путь и знать, что он мой. Мне нужно всего лишь пройти его до конца, и поиск мой будет окончен. И знать: моя цель находится там, где виднеется этот проход! Есть ли на свете такие слова, какими можно было бы описать это чувство? Пытаясь найти их, я снова прохожу этот путь и при этом не думаю о словах. Путь увлекает, захватывает меня, и я не сопротивляюсь. Я не испытываю страха.

Выше, за проходом, обрамленная цепью холмов, передо мной расстилалась голая, одинокая, коричневая пустошь. В заболоченных местах стеклом отблескивала вода, а над зарослями цветущего иван-чая колебалось розовое марево. Там и сям, словно сгорбленные старики, стояли деревья можжевельника.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.